

Игорь Куберский

ЕГИПЕТ-89



Игорь Юрьевич Куберский

Египет-69

*Текст предоставлен издательством
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=12841027
Египет-69: Геликон Плюс; Санкт-Петербург; 2015*

Аннотация

О так называемой «Войне на истощение» 1967–1970 гг. между Египтом и Израилем до сих пор нет художественных произведений, только несколько монографий. В свое время о ней нельзя было писать, а потом ее заслонила другая война – афганская. В центре романа, посвященного событиям этой неизвестной у нас войны, молодой лейтенант, военный переводчик, выпускник Ленинградского государственного университета. В составе советской миссии, оказывающей военную помощь арабам, он становится свидетелем, а подчас и участником боевых действий. Но где война и смерть, там и любовь, – она застаёт главного героя врасплох, навсегда оставляя память о себе.

Содержание

Часть первая	4
Конец ознакомительного фрагмента.	34

Игорь Куберский

Египет-69

Часть первая

– Где бомбили? – спросил Веденин, едва я представил его генералу.

– Эль-Кантара, – ответил бригадный генерал Заглюль.

– Потери есть?

– Yes, – сказал генерал и, встав со стула – вставать ему не хотелось, – грузно спустился к матово светившимся планшетам КП. Он говорил короткими фразами, подчеркнуто делая паузу после каждой, чтобы мне было удобно переводить. – Авиация противника нанесла удар по двум ракетным дивизионам. Одна установка выведена из строя. Убито три солдата, ранен один офицер.

– Стреляли? – спросил Веденин.

– Было четыре пуска. Операторы доложили, что видели вспышку цели. Разведчики говорят, что один самолет сбит.

– Где упал?

– На той стороне, на Синае.

– Как всегда, – усмехнулся Веденин.

Генерал Заглюль пожал плечами. Видно было, что он и сам не очень-то верил донесению.

– Tea, coffee? – возвращаясь на свое место, предложил он нам.

– Кофе! – сказал Веденин.

– Ахуа итнын! (Два кофе!) – кивнул генерал стоявшему за его спиной солдату, и тот звонко и весело, будто просьба и в самом деле содержала в себе что-то радостное, передал распоряжение дальше.

Принесли кофе – на подносе, в маленьких стаканчиках.

– Противник использовал бомбы замедленного действия, – глядя, как мы пьем, продолжал генерал. – Время срабатывания – от пяти минут до трех часов. Бомбы упали в мягкий грунт. Обнаружить их сложно. Они продолжают взрываться – это деморализует личный состав.

Веденин сделал последний глоток и, покачивая головой, отставил пустой стаканчик.

За матовой стеной планшетов воздушной обстановки маячили силуэты солдат. Один на мгновение прижался лицом, так что стали видны его глаза, и резко постучал по оргстеклу – со стороны Синая, через Суэцкий канал, прямо к нам, к синему кружку Абу-Сувейра, поползла жирная черная линия.

– Налет, – устало сказал генерал, берясь за телефон, и в тот же момент где-то над нами ухнул взрыв.

– Пошли! – схватил меня за руку Веденин. Мы поспешили к выходу.

– Куда? – обернулся генерал. – Там бомбят! – Впервые на его лице обозначился интерес к нам.

– Малеш! (Не важно!) – улыбнулся Веденин.

Я и сам не могу сидеть в укрытии во время бомбежки. Я должен видеть что и как. Страх рождается от неизвестности. Мой отец, воевавший под Сталинградом, рассказывал: «Если ты видишь, куда бросают бомбы, тебе ничего не грозит. Если даже в тебя, ты успеешь перебежать в другое место». Дело, наверное, даже не в том – успеешь или нет, сейчас едва

ли успеешь, главное – ощущать опасность не спиной и затылком, а видеть ее перед собой. Так можно быть с ней на равных. Хотя бы поначалу.

Майор Атеф, с которым мы приехали, был тут же, наверху. Увидев нас, он кивнул в сторону, откуда раздавались взрывы:

– Радиолокационную роту бомбят.

Раскалывая воздух, над нами пронесся бомбардировщик. Мы машинально пригнулись. Это был «скайхок». Он только что вышел из пике и с усилием рвался вверх. Сейчас он летел низко, был хорошей мишенью и знал это. Но уже уходил на форсаже, так что было видно его сопло.

Бомбили за деревьями, метрах в трехстах от нас. Я вскочил на бетонную стенку, защищавшую вход на КП. Впереди, за освещенными солнцем эвкалиптами в нежном предвечернем небе стояли ватные комочки взрывов. Среди них быстро плыл маленький серебристый самолетик – он плыл высоко и неслышно, и звонкие стонущие выстрелы наших зениток, казалось, не имели никакого отношения ни к нему, ни к тем ватым комочкам, что возникали у него на пути. Казалось, что он не проберется сквозь них – я все ждал другой, огненной, вспышки, – но самолетик, сверкнув крыльями, уже обваливался в пике, и, пока он рос на глазах, все молчало вокруг, а Веденин кричал где-то рядом:

– Почему не стреляют на упреждение?! Где упреждение, елкины дети?!

За деревьями раздавался взрыв, коричневое облако подымалось над зелеными кронами, и снова над нашими головами проносилась серебристая, устрашающе грохочущая болванка с одним-единственным желанием – снова вжаться в спасительную высоту. Теперь стреляли. Золотистые снаряды, как пчелы из улья, взмывали вверх, едва не впиваясь в треугольник крыльев, – и жалили, жалили, жалили пустоту.

В щелях возле КП, сгрудившись касками, сидели солдаты. Бомбили не нас, но они находились на боевом посту, и было что-то неловкое в том, что мы стояли в рост рядом с ними.

Через пять минут все стихло. Мы вернулись на командный пункт. Планшет был чист. Генерал пил кофе.

– Кофе или чай? – по-арабски спросил он и тотчас поправился: – Tea, coffee? – Он снова был официально предупредителен.

– Шукран, баден (Спасибо, потом), – ответил по-арабски Веденин и, помогая себе руками, добавил: – Эхна хенак арабия алатуль!

Я понял, что он хочет съездить к РЛС, и перевел это на английский.

– Ле? Why? – Генерал типичным арабским жестом вскинул перед собой руку открытой горстью вверх и повернулся ко мне, подчеркивая крайность своего недоумения.

– Лязем шуф! – сказал Веденин.

– Мистер Веденин хочет посмотреть, – на всякий случай повторил я по-английски.

Мы забрались в наш газик.

– Мистер Веденин, генерал Заглюль прав, – сказал майор Атеф, стоя возле открытой дверцы. – Это не наше дело. Кроме того, там могут быть бомбы замедленного действия...

– Не хотите – оставайтесь, – сказал Веденин. Он сидел сзади, рядом со мной, и нетерпеливо простукивал пальцами папку, с которой никогда не расставался.

– Ох, мистер Веденин, мистер Веденин, – укоризненно вздохнул майор Атеф и тяжело полез на переднее сиденье. Он был такой большой, что машина присела. Наш шофер включил газ, и мы выскочили из-под навеса эвкалиптов в желто-серую, тут же начинающуюся пустыню.

– Мы быстро, туда и обратно, – примирительно тронул Атефа за плечо Веденин.

– Ох, мистер Веденин, – покачал головой майор, – не наше это дело.

Я был благодарен Веденину. До него я был просто штабистом: «Олимпия» с латинским шрифтом, груды технических словарей, обед с часу до трех...

И когда на выходные приезжал с канала мой сосед по комнате – переводчик из Москвы Сергей Фоменко – и, сбрасывая у двери пропыленную арабскую форму, сообщал о перестрелке или воздушном налете, я завидовал ему... Но вот уже два месяца как меня назначили переводчиком к советнику начальника войсковой ПВО, и мы то и дело мотались вдоль Суэцкого канала, где редкая поездка обходилась без боевых действий. К тому же нам везло – до сих пор мы оставались только наблюдателями; скорее можно было попасть под осколки своих же зенитных снарядов, рвущихся над головой.

...Издали казалось, что на территории роты все по-прежнему: ничего не горело, не дымилось, только радарную антенну на холме слегка перекосило. Рота располагалась в небольшой котловине. Газик встал возле самого спуска, мы вылезли.

– А бомбят-то так себе, – уперев руки в бока и обводя прищуренным взглядом вспаханную воронками землю, сказал Веденин.

– Лучше идите сюда! – позвал майор Атеф. Он показывал вниз, на грузовик, обложенный по бортам мешками с песком. Его начиненный электроникой кузов был вздут – очевидно, ударом взрывной волны. Из-под развороченной обшивки торчали белоснежные бруски пенопласта. Атеф спустился вниз и зачем-то вытащил два бруска. Один он протянул Веденину.

Кто-то бежал к нам понизу. Еще издали Веденин узнал советника командира батальона подполковника Клевцова. С ним был переводчик. Веденин ждал их, похлопывая бруском по колену.

– Здравия желаю, тащ полковник! – живо взобравшись по песку и часто дыша, приветствовал Клевцов. – Видели?

– Видел, видел.

Мы с переводчиком переглянулись, как бы на своем уровне обмениваясь впечатлениями.

– Воюем, тащ полковник! – В голосе Клевцова угадывалось мнение обо всех нас, штабных, которые не воюют.

– Что-то не вижу сбитых самолетов, – вполголоса, словно Атеф мог его понять, буркнул Веденин. – Потери есть?

Загорелое лицо Клевцова сразу стало серьезным.

– Одиннадцать человек личного состава. Прямое попадание в землянку. Мы сейчас там были: жуткое зрелище, каша...

– А говорите «воюем», – помрачнел Веденин и отвернулся.

– Мы, тащ полковник, – кашлянув, сказал Клевцов, – мы собирались сейчас парочку батарей проверить...

– Непременно! – кивнул Веденин и, глядя, как они удаляются той же мелкой суетливой побегой, крикнул вслед:

– Только осторожней! Не подорвитесь тут!

На бегу Клевцов беспечно махнул рукой, однако в плечах его застыла тревога.

Атеф неуютно поглядывал вокруг:

– Поехали, мистер Веденин!

Потоптавшись возле одной из воронок, словно что-то прикидывая, Веденин не сразу кивнул и молча полез в машину.

Неподалеку на песчаном бугре располагалась одна из батарей прикрытия. Это была батарея крупнокалиберных спаренных пулеметных установок. Газик остановился внизу. Заметив мощную фигуру майора, нам навстречу вытянулся стройненький лейтенант. Он сделал строгое лицо, но глаза его смеялись.

– Молодец! – помял Веденин ему плечо.

Я запнулся, решая, как точнее перевести, но лейтенант, командир батареи, понял и так.

– Страшно небось было? – не отпуская его, подмигнул Веденин.

Лейтенант, ему от силы было двадцать два года, вопросительно посмотрел на меня и, услышав перевод, яростно замотал головой.

Мы обошли установки. Солдаты следили за нами, не покидая своих боевых постов. У них были усталые закопченные лица.

– Ну, как стрелял? – спросил Веденин одного.

Я перевел на английский и, видя, что он не понимает, повторил по-арабски. Говорил я, правда, немногим лучше Веденина.

– Так все время и стрелял? Без перерыва?

– Нет!

– А когда? – допытывался Веденин, делая знак Атефу, который пытался подсказать.

– Когда самолет был внизу.

– На какой высоте?

– Сто метров.

– С каким упреждением?

Солдат знал и это.

– Ну что ж, – поднял голову Веденин, оглядывая остальных, старавшихся услышать разговор. – Шукран, куллу квайс! (Спасибо, все хорошо!)

Все заулыбались.

Позади грохнуло, так что под ногами вздрогнула земля, и тут же кто-то пустил в небо пулеметную очередь.

На территории роты взорвалась бомба. Землю вынесло чуть ли не на высоту пятиэтажного дома как раз там, где недавно пробегали Клевцов с переводчиком. Все смотрели, как опадает коричневый столб.

– М-да... – потер подбородок Веденин и направился к газику. На ходу он обернулся и громко сказал: – Мушлязем дарбанар! Таяра мафиш! (Стрелять не надо! Самолетов нет!) – За неимением других слов он выразительно обвел рукой небо, как бы своей волей освобождая его на сегодня от самолетов противника.

Не отъехали мы и на сотню метров, как за нами, перекрыв гул мотора, снова грохнул взрыв.

– Уаф! (Стой!) – крикнул шоферу Атеф и, пригнув голову, мгновенно, несмотря на свой большой вес, выскочил из машины.

«Налет!» – подумал я, но едва взялся за ручку дверцы, как Веденин удержал меня за рукав.

– Смотрите, мистер Веденин! – показывая назад, возбужденно говорил майор Атеф. Теперь уже было ясно, что это не авиация.

Позади, там, где слежавшийся песок пропечатали протекторы нашего газика, дымилась огромная рваная воронка.

– Чепуха, – скорее себе, чем нам, пробормотал Веденин. – Бомба глубоко в грунте, осколки пошли вверх.

– Если бы мы задержались на десять секунд! – выговаривал Веденину Атеф.

– Если бы да кабы... – буркнул Веденин и тихонько подтолкнул меня, – можешь перевести?

– Попробую, – сказал я.

– Ладно, – махнул он рукой, – не надо.

Пока мы выбирались на дорогу, пока военная полиция снова тщательно проверяла наши документы, солнце опустилось совсем низко и верхушки пальм, западные стены

домов, пыль из-под колес – все стало оранжевым. Городок оживал, из маленьких темных кофеен доносились острые запахи арабской кухни, жители, возбужденно жестикулируя, обсуждали подробности бомбежки. Теперь, когда до наступления темноты оставалось не более получаса и было ясно, что налетов больше не ожидается, каждый особенно остро чувствовал эту вечернюю благодать, и разговоры за чашкой кофе на пыльной террасе возле дороги, игры в нарды, призывы лотошников, торгующих контрабандной мишурой, возня над латаным-перелатаным «фордом» в кустарной автомастерской, – все это возобновлялось с утроенной энергией, как если бы спор со смертью состоял в том, чтобы не уступить ей ни одной из своих повседневных привычек. За дорогой на узком канале в колючей ограде пыльных кактусов нежно золотился ребристый парус фелюги, напоминая о Ниле, над которым сейчас тоже совершался скорый и скромный закат, о вечернем Каире, где в синеватом свете улиц сплошным потоком несутся автомобили и так же, как здесь, призывно ипряно веет из кофеен...

Из-за бомбежки мы не остались на ужин в штабе бригады, хотя генерал Заглюль настойчиво нас приглашал. Мы рассчитывали перекусить в Бильбейсе, где бросили после обеда своего генерала Каляуи (Веденин упорно называл его Каляви). Мы могли обойтись и без Атефа, но предупредительный Каляуи велел ему ехать, и Атефу было досадно, что его послали не по делу, а как бы за компанию. Однако он был из тех арабских офицеров, кого мы называли «своими», и генерал Каляуи, начальник войсковой ПВО, учитывал это.

Теперь майор Атеф оживленно посматривал на дорогу, изредка бросая тихие команды солдату-шоферу, который ехал с нами в первый раз. Мы обгоняли огромные, мятые, набитые до отказа автобусы, ишаков, тряско несущих свою поклажу или седока; с вечерних полей, что начинались сразу за дорогой, шли навстречу феллахи в полосатых галабях – они узко ступали по пыльной обочине, и лица их были усталы, а глаза весело-пронзительны, как у тех солдат с батареи крупнокалиберных спаренных пулеметов. За темными массами эвкалиптов, вставших вдоль дороги, все мрачнел закат, темно-красный, как гранатовый сок, затем на дороге совсем стемнело, шофер включил передний свет, и, когда газик продрожал колесами по бревнам настила и, погасив для маскировки фары, осторожно двинулся к военному городку, небо уже было все в звездах.

Мы подъехали в полной темноте. Я ждал, что сейчас навстречу с пугающим криком выскочит часовой, держа наизготовку карабин, – по сути, он был беззащитен, может, оттого так искажено было его лицо, – но никто нас не встречал.

– Спит охрана, – проворчал Веденин и, тронув меня за локоть, повторил для Атефа: – Я говорю, охрана-то заснула...

Атеф недоуменно пожал плечами.

Я выглянул из машины. Слева в звездное небо впечатывались силуэты каких-то строений. Над одним из них была встопорщена крыша, и из нее веером торчали доски, будто ее решили сменить, сбросив целиком. От земли шел непонятный блеск, словно там насыпали осколков стекла, и я не сразу догадался, что это вода. Откуда она тут взялась? Приказав шоферу ждать, мы захлопнули дверцы и пошли мимо поднятого шлагбаума – конец веревки сиротливо застыл в высоте – к ближайшему дому, где за окном двигалось сразу несколько точек света, будто от фонариков.

– Кто здесь? – остановил нас возле изгороди громкий шепот по-русски, и из темноты нам навстречу шагнул знакомый советник. – А, это вы, товарищ полковник...

– Что тут у вас случилось? – спросил Веденин, впервые за всю поездку вспомнив про курево и обхлопывая свои карманы.

– Полковника Карасева убили.

– Что?!

– Карасева Юрия Ивановича...

В доме, где жил Карасев, теснилось человек десять. Был здесь и генерал Каляуи. Увидев нас, он кивнул, скорбно прикрыв глаза. Говорили все шепотом.

В доме было все цело – выбило только оконную раму да с антресолей упал чемодан. В чемодане были подарки для жены и двух дочек. У Карасева через неделю кончился срок контракта. Подарки сложили на столе среди неубранных осколков стекла.

...У шлагбаума он отпустил машину и направился к дому, с портфелем в руке. Он прошел ровно половину этого короткого пути. Разрыва он не слышал и не знал, что убит. Самолеты противника прошли на малой высоте – рев турбин раздался уже после разрыва, когда «фантомы» были далеко. Они шли бомбить расположение танковой бригады. Ракета была пущена по ошибке, раньше времени – видно, у кого-то из израильских летчиков сдали нервы. Кажется, с начала новой кампании это была первая потеря в наших рядах.

Я знал полковника Карасева. Месяца три назад в нашем штабе ПВО он выбивал себе переводчика. Прежний уехал домой, а нового не давали.

– Ну и чего ты тут сидишь? – наседал он на меня, в то время как я корпел над письменным переводом на английский очередной инструкции по эксплуатации радиорелейной техники. – Поехали. Хоть с людьми пообщаешься, с народом. А?

Арабская, полевая, без погон, форма сидела на нем мешковато, но привычно, матерчатая фуражка была сдвинута на бритый затылок, он то и дело наставлял на себя вентилятор – на улице нечем было дышать. Переводчика ему тогда так и не дали. Считалось, что на точке за два года можно научиться хоть китайскому, к тому же его «подсоветный» прекрасно говорил по-русски.

– Да о чем мне с ним говорить, – качал головой Карасев, – он даже пива не пьет...

Оставаться здесь не имело смысла – до Каира было всего полтора часа езды. Почти всю дорогу молчали. Только Атеф что-то тихо рассказывал генералу Каляуи, и по отдельным словам я понимал, что речь идет о наших с Ведениным подвигах. Веденин сидел впереди. Нас встряхивало на ямах, мотало на поворотах, а он оставался неподвижен. Глядя на его окаменевшую спину, я вдруг почувствовал, что устал. Хотелось есть. Мы обедали в два часа дня. Шел двенадцатый, и в лавке еще можно было купить лепешек, а если повезет, то и «кафты» – мелко нарезанного мяса, поджаренного на противне. Но мы не останавливались. В звездном небе зашевелились черные вееры пальм, рубчатые стволы в свете фар были землисто-серы. Начинался Каир.

Проскочили под мостом, за которым у дороги еще торговали апельсинами. На окраине фрукты были дешевле, и мы обычно здесь останавливались. Но наш новый шофер даже не притормозил, а Веденин не шевельнулся, и газик покатил дальше, мимо обшарпанных домов бедноты, по пыльным душным ночным улицам.

В респектабельном Гелиополисе стало свежее – молчаливые виллы, освещенные звездами и лунным светом, и повсюду переливается, широко раскачивается темная ночная листва. Первым у своей виллы вышел генерал Каляуи. У майора Атефа не было виллы, но жил он тоже неподалеку, как раз на пути к нашему еще строящемуся Наср-Сити-2. За Наср-Сити не было уже ничего – только пустыня, и когда выходил Веденин (мы жили в разных домах), в открывшуюся на миг кабину ударил прохладный сухой ветер. Газик взял последний разбег. Часы показывали полпервого. За поворотом открылся мой новый одиннадцатизэтажный дом, пустырь...

Араб был еще там, на пустыре. За столиками – никого, но он был. Даже углей не погасил – темно-оранжевый отблеск освещал его склоненное над жаровней лицо. Я отпустил машину и торопливо зашагал к нему.

Он появился совсем недавно. Он привез небольшую жаровню, поставил три зеленых пластмассовых столика, несколько таких же легких стульев и стал готовить шашлыки, назы-

ваемые кебаб. В алюминиевом ящике со льдом он держал большие бутылки арабского пива. Был он сухошав, мал ростом и, когда к нему обращались, улыбался.

– Айуа, мистер! – издали приветствовал он.

– Добрый вечер, – сказал я. – Можно кебаб?

– Айуа, можно, – закивал он. – Один, два?

– Два, – сказал я и добавил почти с уверенностью: – Пива нет?

– Есть, есть! – засмеялся он, хлопнул крышкой своего ящика, пошуровал среди совсем по-нездешнему отозвавшихся льдинок и вынул мокрую бутылку «Стеллы». Я выпил подряд два стакана и подошел к его жаровне. Он уже нанизал ломти мяса, прореженные кусочками помидоров, и, помяв в ладони катыш фарша, облепил им оставшуюся половину шампура.

Я стоял и смотрел, как с шампура на оранжевые угли капает сок, выбивая в них темные пятна. Араб взял голубиное крыло и, перевернув шампуры, стал их обмахивать.

Его звали Мустафа. Сам он был из Суэца. Там во время трехдневной войны погибла его семья: жена и сын. Он перебрался в Исмаилию. Но и Исмаилию обстреливали.

Мы сидели за столом и ели шашлыки – я его угощал. От пива он отказался.

– У мистера есть семья? – спросил он.

– Нет, – сказал я.

– Без семьи нельзя, – сказал он, – мушмумкен. Надо, чтобы была семья, чтобы были дети, аулад. – Он отвернулся и молча смотрел на дорогу.

Дорога шла на Суэц, кратчайшая дорога через пустыню. По ней двигались тяжелые грузовики с наглухо закрытыми брезентовыми фургонами. Гул моторов поочередным эхом отдавался от стен одиннадцатизэтажных корпусов.

– Я знаю, это везут снаряды, – сказал он. – Каждую ночь. В Каире не стреляют, а там, – указал он на восток, – там идет война. Мистер приехал оттуда?

– Да, – сказал я.

По пустырю гулял ветер, и я поднял воротник военной куртки. Только теперь я заметил, что его бьет крупная дрожь.

– Холодно, – поежился я.

Он охотно закивал.

– Можно идти домой, – поднимаясь, сказал я. – Работа халас, финиш. Никого нет – денег нет.

Он протестующе зацокал языком, замотал головой:

– Работа не конец, может еще приехать русский мистер. Оттуда...

В моей пустой комнате на седьмом этаже дверь на балкон была открыта, и ветер постукивал ею по стойке кровати. Я закрыл дверь, принял душ и лег. Вытянулся на спине и закрыл глаза, надеясь сразу провалиться в сон. Я лежал так до тех пор, пока не понял, что заснуть не удастся. Потом встал, закурил и вышел на балкон.

Мустафа был еще там, на пустыре, возле своей жаровни – то ли грелся, то ли загоразживал ее от ветра. Из-за его согнутой спины взлетали вверх золотистые, как пчелы, искры.

Через месяц он исчез. Краем уха я слышал, что его забрала военная контрразведка.

* * *

Один из самых дорогих снов – что я снова в Египте, что мне подарена невозможная радость вернуться в Каир и вот я иду сквозь его сокровища, в моем сне они действительно превращаются в нечто серебряное, филигранное, в награды, инкрустированные золотом, – это драгоценные слитки памяти, это мои чувства, испытанные тогда, мои страхи или надежды, моя любовь, моя молодость – я чувствую вес этих наград, отягощающих грудь, и в глазах моих стоят слезы благодарности – я вернулся, я вернулся!

Впрочем, я могу и ошибаться, многое забыто, а то, что было памятно, осталось лишь каким-нибудь чувством, порывом ветра, пересвистом птиц в струящейся листве ив, столь похожей на листву эвкалиптов... Да и сам Египет я помню скорее как звук, как запах, и ровно так же – ту войну, шелест артиллерийского снаряда над головой (казалось, его можно увидеть...) и рев израильских «скайхоков», пикирующих на позиции арабских РЛС, точно таких же, как там, на Крайнем Севере, где я, что называется, исполнял свой воинский долг, служа отечеству рядовым солдатом. В Египте я был уже лейтенантом. Да, еще разрыв снаряда или бомбы... но громче их – постоянный, необратимый, как судьба, как ежеутренний восход палящего солнца, которого никто не в силах отменить, голос муэдзина с высокой мечети, с ее минаретов, где установлены радиорепродукторы, – надсадный плачущий голос нашего бесконечного человеческого одиночества, взывающего к бесконечным небесам:

«Аллах акбар!»

Но где же она, Мона, девятнадцатилетняя Мона Абдель-Ази? Она стоит на краю моего сна, не смея окликнуть меня. Она все та же, а я... я на тридцать пять лет старше... Узнает ли? Она долго писала мне письма, она умоляла, заклиная всем святым, что есть на земле, ответить ей. Хотя бы только дать знать, что я жив, продолжаю жить, пусть и невозможно далеко... Я не отвечал, на что у меня были свои причины. Ведь я обещал ей через год вернуться, ведь я дал в Минобороны согласие на пролонгацию военного контракта – оставалось только защитить диплом... Но меня больше не пустили. Мне отказали в выезде. Почему? Об этом я могу только гадать. Скорее всего, потому что военная цензура перлюстрировала мои письма, в которых, Впрочем, не было ничего антисоветского, разве что вольный, непредвзятый взгляд на вещи, что всегда раздражает власть... Или что-то другое... Впрочем, теперь это уже совсем не важно.

Я познакомился с ней... Стоп. Сначала была Ольга, и мы встречались, когда это было возможно. Но нам приходилось от всех прятаться, потому что у нее был муж и ребенок, девочка с рыжими кудряшками, к счастью, еще не разговаривавшая. Совсем кроха... А то бы она непременно просветила бы своего рыжего папочку... Не знаю, что нашла во мне Ольга и почему она изменяла своему мужу. Не потому, что была неудовлетворенна в своей семейной жизни, – как раз с этим у нее было все в порядке, сама говорила, что муж у нее вполне... Да и можно ли это назвать изменой ему – бодрому симпатяге, лишь раз в неделю возвращавшемуся в Каир со своей высоковольтной линии электропередач, то есть ЛЭП, которую русские спецы тянули от самого Асуана. Их у нас так и называли – лэповцы. Лэповцы жили семьями, как и большинство офицерского состава, – лишь мы, вчерашние выпускники военных кафедр институтов и университетов, получившие дополнительную специальность военных переводчиков, холостяковали, даже если у кого-то и были жены. Просто у нас был годичный контракт – а по такому контракту жена не полагалась...

У меня жены и не было. Думаю, Ольга встречалась со мной потому, что была молода и хороша собой, а муж по неделе отсутствовал, а жизнь бурлила в ней, но какая это жизнь, если ты с утра до вечера привязана к маленькой девочке, к базарчику возле твоей многоэтажки, к пустой квартире на шестом этаже с холодными каменными полами, к ожиданию, когда наконец твой суженый соизволит приехать с субботы на воскресенье, чтобы нехотя оттрахать тебя, потому что он устал от жары и арабов, потому что ничего не клеится и ничего так не хочется, как только нормально поесть и отоспаться...

У нее не было никаких комплексов насчет того, что она плохая мать или неверная жена... Она была воплощением естественности... То, что ей нравилось делать, то и было правильно и хорошо. А потом они всей семьей уехали в Танту, что в дельте Нила, и я тосковал по ней. Был месяц июль, и над всем Египтом, как высшее божество и верховный судия, каждый день восходило солнце, и все живое искало тени, чтобы выжить, – тени и воды. А я

сидел в Хургаде, и передо мной было море. Хургада считалась ссылкой, Хургадой пугали, но я знал, что рано или поздно придет и мой черед...

* * *

Я стою около ревущего самолета, еще ошеломленный нестерпимой болью в ушах, которая терзала меня целых полчаса до посадки, и жмурю глаза от ослепительного сияния желтой пустыни, от слюдяного блеска раскаленного воздуха, еще не вполне осознавая смысл целенаправленной суеты, царящей вокруг. Долетели благополучно, сделав, правда, крюк над Луксором, поскольку вдоль Суэцкого залива барражировали израильские «миражи». Одна надежда, что транспортников не трогают. Не тронули...

У широко раскрытого сзади фюзеляжа АН-12 снуют арабские солдаты, вытаскивают какие-то металлические фермы, несколько младших офицеров в такой же, как у солдат, хлопчатобумажной полевой форме деловито отдают приказания. Сноровисто загрузив открытые кузова двух грузовиков, солдаты уезжают, а мы остаемся стоять, здесь, в пятистах километрах к юго-востоку от Каира, у побережья Красного моря, в местечке, которое мы называли тогда Гардахой и которое теперь в другой транскрипции попало чуть ли не под номером один в популярные туристские маршруты по Египту.

Чтобы унять тревогу и растерянность – как-никак выдворили из насиженного гнезда, – я стараюсь представить себя на месте одного из тех лейтенантов, захлопнувшего за собой дверцу кабины (смуглая рука, часы с вольным сильному сухому запястью серебряным браслетом). Если кажется, что где-то жить невозможно, то присутствие в этой невозможности других людей все-таки обнадеживает. И в эту минуту нет для меня человека ближе, чем майор Ефимов, пусть я и считаю его одним из виновников моего появления здесь. В солнечных очках с лягушачье-зелеными стеклами, в выгоревшей арабской форме, подперев бока, он равнодушно смотрит в расплавленное марево, в котором плавится широкая взлетно-посадочная полоса. Матерчатый козырек арабской полевой фуражки свисает на его короткий обгоревший нос, а севшие после холостяцких стирок брюки, теперь не закрывающие толстых щиколоток, трепещут на горячем ветру, облепляя шишаки коленей. Не замечая ничего вокруг, он с терпеливым унынием, что можно приписать действию жары, стоит возле своего чемодана и чего-то ждет.

На левом, ближнем ко мне, крыле глохнут моторы – в двух больших прозрачных кругах черно обозначаются бешено вращающиеся винты. Напоследок махнув лопастями, винты резко замирают, и в них жгуче отражается солнце. Замолчало и на правом крыле – тишина стоит только гулом в моей голове, который вдруг вырывается наружу, превращаясь в стонущий грохот. Подняв голову, я вижу стремительно взмывающий пятнистый силуэт МиГ-21, самого скоростного в мире истребителя. Похожий на сигару с черным срезом, он, показав свою спину, мгновенно, по вертикали, набирает километра два высоты и уходит к морю. Снова грохот, и еще один МиГ, низко пройдя над аэродромом, свечой взвивается ввысь. Ведущий и ведомый, поднятые то ли по тревоге, то ли на боевое дежурство. Или просто чтобы потренироваться...

* * *

Ефимов – белобрысый упертый крепыш в звании майора, кажется, даже успевший повоевать в Великую Отечественную. Значит, было ему уже около пятидесяти. Мы жили в бунгало, метрах в ста от уреза воды, – Ефимов на втором этаже, я на первом. Делать нам было нечего. Стояла такая жара, что даже воевать не хотелось. А война была рядом. Да, в Хургаде имелся военный аэродром, и мы с майором Ефимовым отвечали за его прикрытие.

Аэродром охраняли четыре установки спаренных зенитных пулеметов, бывших по низколе-
тящим целям, да две зенитные установки, достававшие самолеты на высотах до трех кило-
метров. Ракетных дивизионов – ноль. За эти пулеметы и зенитки, то есть за войсковую ПВО,
мы и отвечали и каждый день должны были ездить на аэродром и заглядывать к своим под-
советным, капитану Ахмеду и майору Закиру, – пили с ними крепкий сладкий чай, завари-
ваемый прямо в стакане, или кофе. Было так жарко, что авиация тоже отдыхала в капони-
рах и летать не собиралась. Хорошо, что хоть в капонирах: два года назад в Шестидневной
войне самолеты Египта даже не успели подняться в воздух – их сожгли на аэродромах. Но
и теперь арабы не рвались в бой. На вооружении у них были наши МиГ-21, прекрасные по
своим летным характеристикам машины, но имевшие по сравнению с французскими «мира-
жами» израильян более скромное вооружение, меньшие боекомплект и радиус действия.
Для пущей убедительности майор Закир брал лист бумаги и рисовал две колонки цифр под
словами «у них» и «у нас». А против цифр, как говорится, не попрешь... Майор Ефимов
крякал, хлопал себя ладонями по коленям, начинал яростно тереть их, словно в чесотке. Раз-
говор шел по-русски, так как оба офицера проходили подготовку у нас в Союзе.

– Сволочи, недоумки! – бурчал майор Ефимов, кивая куда-то вверх-направо, через
плечо, будто в том направлении и находились те, кого он сейчас клеймил. – Могли бы поста-
вить что-нибудь поновее... Так бояться, как бы чего не того... Американцы оснащают Изра-
иль по последнему слову, а мы... Нельзя, засекречено, у самих-де на вооружении... А то
что наша техника проигрывает в бою? А наш престиж? Кому тут нужен списанный метал-
лолом... Мы что, с бедуинами воюем, с верблюдами? Когда мы погнали немцев? Когда срав-
нялись с ними в вооружении, в новой технике? Нет! Когда не только сравнивались, но превзо-
шли – и по качеству, и по количеству. Да, и по количеству, причем в три-четыре раза... – Он
будто запаматовал, что как раз вооружения по количеству у египтян было гораздо больше,
чем у израильян. Правда, старья.

Арабские офицеры смотрели на него с любовью: во-первых, не боится говорить
правду, во-вторых, уверен, что они его не заложат, – настоящий верный друг, садик... В воз-
душных боях Египет нес потери. От наших радиолокационных станций, ракетных комплек-
сов тоже было немного толку. Все это было вчерашнее, снятое или снимающееся с воору-
жения. И результат все уже осознали – не только арабы, но и наш генералитет-тугодум...
Назревал кризис, после которого должен был произойти прорыв. Ахмед и Закир смотрели
на Ефимова как на посланца благой вести. Он, когда вернется, должен будет доложить там,
в Каире, обо всем, что от них услышал и в чем сам имел возможность убедиться... Он дол-
жен будет донести свои замечания и предложения в рапорте генерал-лейтенанту Голубеву,
главному военному советнику командующего египетскими войсками ПВО.

У Закира была русская жена. За четыре-пять лет подготовки в Союзе многие арабские
офицеры обзавелись русскими женами, или скорее подругами. Жениться на арабке по араб-
ским законам и традициям было куда как накладней. Некоторые русские жены отнеслись к
своему статусу серьезно и оказались в Египте. Другие же оставили о себе нежные воспоми-
нания и пачки писем. У арабов хороший слух, и со звуками нашей речи они справляются
успешней, чем мы с арабскими согласными. Впрочем, помню, что наше «ж» их смешит.

Вечер проводим в жилище у капитана Ахмеда. Он счастливо избежал всех искушений
и вернулся один. Но и у него пачка писем, написанных по-русски старательным школьным
почерком. От разных дам. Больше всего меня поразили их имена, особенно по контрасту с
почтовыми адресами, – Новомартышкино, Дальние Выселки, Малые Броды... Оказывается,
там жили Анжелики, Виктории, Жозефины, Матильды...

Каменный пол у породистого красавца Ахмеда натерт какой-то дрянью вроде керосина.

– От тараканов, – поясняет Ахмед, но тут же огромный таракан, словно бросая ему
вызов, несется по диагонали от стенки к стенке. Слышен чуть ли не цокот его копыт. Ахмед

живо вскакивает, и в следующий миг хитиновое облачение таракана хрустит под высоким, со шнуровкой, военным ботинком американского образца. Как ни в чем не бывало Ахмед возвращается к нашему скромному холостяцкому застолью и, улыбаясь отличными зубами, говорит:

– Как это будет по-русски: была бы водка и молодка, а остальное трын-трава.

– Была бы водка и селедка, – поправляет его майор Ефимов. Он уже серьезно принял на грудь, и ему хорошо. Капли пота выступили над его белесыми бровями. Подняв стакан с бренди, он заводит свою сокровенную:

Выпьем за тех, кто командовал ротами,
Кто умирал на снегу,
Кто в Ленинград пробивался болотами,
Горло ломая врагу...

Ефимов в такт стучит себя по колену кулаком, и на его глаза навертываются злые слезы. С той войной у него связана драма, о которой он говорит неохотно. Его не наградили за какое-то геройство. Хотя он был представлен. Уже список ушел наверх. Но Ефимов провинился. Послал на три буквы какую-то шишку-проверяющего из штаба фронта. Поутру выскочил из землянки по малой нужде, спросонья в потемках не разобрал, кто перед ним. Эта обида гложет его уже двадцать пять лет...

Майор Ефимов, смельчак и забияка, воспитанник детского дома, не помнит ни матери, ни отца. В бою бесстрашен. Идеино подкован. Линию партии разделяет. Только все же считает, что наверху окопалось слишком много долбоебов и захребетников, которых ничто не заботит, кроме собственной мощны.

Меня он просвещает и по женскому вопросу:

– Все бабы – бляди.

В Египте он один, без жены, которая, впрочем, у него есть где-то в Калуге, но она не захотела с ним ехать. Испугалась нильских крокодилов и шистосом – нильских червячков, поражающих внутренние органы человека...

Все время хочется есть, потому что жратвы никакой, даже за египетские фунты... Хургада – это небольшой поселок, скорее деревушка, с одним-единственным цивильно выглядящим заведением под названием кафе-ресторан. Говорят, там можно подкрепиться, но задорого. А в поселке на базаре, кроме апельсинов и манго, почти ничего. Ну, пиво... И еще лепешки, которые пекут тут же на твоих глазах в маленькой пекарне. За лепешками хмурая очередь, темные лица, темные галабеи до пят, головы обвязаны платками, на ногах не пойми что... Я в военной арабской форме без погон. Как все военные в очередь не встаю. Кто-то из стоящих возбуждает – его одергивают. «Ты что не видишь – это русский хабир», – говорит ему высокий строгий старик. Хабир – это специалист. Очередь расступается. «Шукран (спасибо)», – говорю на всякий случай.

Я покупаю четыре лепешки, по две нам с Ефимовым на обед. И еще – удача! – две крохотные банки каких-то рыбных консервов. И пару яиц. Это значит, у нас будет пир.

Обедаем, запивая пивом «Стелла» консервный привкус нашего пира.

– А это что такое? – не дождав, вопрошает майор Ефимов, брезгливо уставившись в лепешку, от которой он уже хорошо откусил. Внутри запеченные мучные жучки, размером с маленьких рыжих муравьев.

– Это я есть не буду! – говорит Ефимов и оскорбленно смотрит на меня, словно я собрался его отравить.

– Ничего страшного, – говорю я, делая бодрящую мину, – святой Антоний в пустыне питался одними акридами, то есть саранчой.

– Ну так я же не Антоний! – с обидой в глазах смотрит на меня Ефимов.
Обида – это его коронка. Мир несправедлив, все бабы – бл. и, а наверху одни долбо...ы.
Пир не задался.

* * *

Чтобы исправить мнение о себе у непосредственного начальника, а скорее чтобы не сдохнуть с голоду, я отправляюсь на рыбалку. Вся моя снасть – это черная суровая нитка, ее мне отмотал от собственной катушки сам майор, и крючок, оставленный нам предыдущей сменой русских хабилов, то есть советником и переводчиком. Они тут застряли почти на полгода и порядком одичали... Переводчик Сомов мне знаком – загоревший до арабской черноты, только глаза остались теми же, светло-голубыми... Я запомнил его еще по сборному пункту в Минобороны, в Москве, где нас последний раз проверяли на вшивость. Я чуть не провалил экзамен. Отец учил меня всегда говорить правду во время такого рода проверок. И я, лох и наив, в графе анкеты «Были ли у вас контакты с иностранцами» так и написал черным по белому: «Были». Почему-то мне казалось, что всю мою подноготную и так знают. Даже сейчас мурашки по спине – подумать только, из-за одного этого слова я мог бы не оказаться в Египте, и мне нечего было бы вспоминать.

Но «были» же! Ведь я почти год проработал осветителем в театре сразу после школы, то есть не сразу, а после того, как не прошел по конкурсу на филфак ЛГУ. Две пятерки, две четверки – для вчерашнего школьника этого было мало, вот если бы у меня был рабочий стаж... Да, была тогда такая фишка – стаж работы не менее двух лет, открывающий двери к высшему образованию. И я пошел за стажем во Дворец культуры им. Ленсовета, он же «Промка», то есть «Промкооперация», где был прекрасный театральный зал, в котором выступали разные приезжавшие к нам на гастроли театральные коллективы. Об отечественных я уже не говорю, а из иностранных – чешская «Латерна Магика», английский театр «Олд Вик», привезший постановки пьес Шекспира и Оскара Уайльда, Датский королевский балет, Нью-Йорк Сити балет, Кубинский балет... Люп Серрано, Эрик Брун, Алисия Алонсо... балетоманы встают по стойке смирно под эти имена. Ну и, конечно, контакты, два молодых танцовщика-американца из кордебалета. Они со мной подружились или я с ними – уж больно хотелось заговорить по-английски.

И еще – ощущение совсем иного мира, даже запахи другие, даже листочки клейкой бумаги на дверях комнаток-уборных артистов, сами надписи на листочках, сделанные чем-то синим и толстым, что в дальнейшем войдет и в наш обиход под названием «фломастер»... На дворе 1961 год, «железный занавес», чуть приоткрытый там, где я работаю осветителем. И люди у них другие – свободные, раскованные, полные внимания ко мне, семнадцатилетнему юноше, задумывающемуся о нашем бытии. Потом они будут писать мне письма, а я отвечать на них. Да, еще какой-то актер из театра «Олд Вик». В ту пору я увлекался собиранием открыток с репродукциями картин мировой живописи, и он мне пришлет несколько открыток с абстракциями то ли Пита Мондриана, то ли Пола Сэзерленда. Как тогда я всем этим дышал, какое мощное дыхание новизны шло оттуда! А от Сальвадора Дали вообще можно было свихнуться – сюрреализм, истина сна, секунда перед пробуждением от полета пчелы вокруг плода граната. Издательство «Искусство» в своих иллюстрированных монографиях разоблачало современную буржуазную культуру, а мы учились на этих иллюстрациях – Джеймс Поллок, Макс Эрнст, Ив Танги...

И вот меня, только что честно и простодушно признавшегося в «контактах», отправили на ковер к какому-то генералу, то ли политработнику, то ли представителю военной контрразведки. Если бы это был гэбэшник, Египта мне бы не видать как своих собственных ушей. Но «контрразведчик» был настроен благодушно, хотя и недоумевал, почему именно на его

голову свалился этот самый контактер. Он попросил меня рассказать, какого рода контакты у меня были, и я, уже смекнув, что дело плохо, и порядком струхнув, стал мямлить про свое осветительство, о чем имелась запись в моей трудовой книжке, и про то, что без английского языка на сцене было не разобраться – что делать, куда светить...

– Там что, не было переводчика? – удивился генерал.

– Был. Один на всех, – сказал я абсолютную правду.

– Понятно... – сказал генерал. – А вам хотелось помочь и попрактиковаться...

Я кивнул.

Но даже не мои объяснения, а скорее самый мой вид образцового студента советского вуза плюс три года службы в армии убедили генерала в том, что за мной нет и не может быть никакой крамолы... И все-таки, проверяя вынесенное впечатление, он спросил:

– Ну а письма-то вы писали друг другу?

– Писали, – сказал я, подумав, что, скорее всего, эти письма проходили через руки КГБ и потому лучше не отпираться.

– Ну и что же вы писали в этих письмах? – огорчилась за меня военная разведка, ибо, как хорошо всем известно, простота хуже воровства.

– Поздравляли друг друга с праздником...

– С каким праздником?

– С Новым годом.

– А с каким еще?

– Больше ни с каким...

– Хм... странная была у вас переписка, – слегка нахмурился генерал.

– Просто я больше не поздравлял, – сказал я. – Как в армию призывали, так и все.

– Да, молодой человек... – вздохнул генерал.

Понятно, что он предпочитал отправить по пунктам назначения всех указанных в списках лейтенантов и не создавать проблему из-за какого-то одного малахольного. И он ее не создал. Только сказал, что Западный мир (отнеся к нему и Египет) полон соблазнов и что советский человек должен различать истину за внешним блеском и красивым фасадом. Он был прав – мне понадобились десятилетия, чтобы постичь эту непростую науку различения, потому что все, похоже, только и были заняты тем, чтобы парить тебе мозги, особенно в твоём собственном доме...

– Скажем, отправитесь вы в Каире в отель «Шератон», – развивал меж тем свою мысль генерал, – увидите всю эту роскошь, и вам может показаться, что так все и живут... – И в голосе его при этом прозвучало что-то лично пережитое...

О неожиданном вызове на ковер я как раз и поведал случившемуся рядом переводчику Сомову. Он, уже успевший поработать в Танзании, только усмехнулся:

– А я написал: «Не было, не имел», хотя, конечно, имел, и не раз.

И я, кажется, понял, что именно он имел в виду...

В отеле «Шератон» я так ни разу и не был. Да и не знаю, где он там, в Каире, но даже те дома, в которых нас поселили, даже те жилищные условия, стандартные для приезжающих иностранных специалистов, мне показались непозволительной роскошью. Я как бы вдруг стал богачом в новом своем статусе...

Правда, только не здесь, не в Хургаде...

Вечереет – это значит, что солнце больше не стоит над головой, оно теперь слева, на западном склоне неба, над горами, сгрудившимися словно стадо слонов, и свет из ослепительно яркого, беспощадного, жгучего стал мягким и теплым, с золотистым отблеском. В зеленовато-фиолетовой купели моря плещутся местные мальчишки. Из такой воды можно не вылезать часами – она не остужает, она греет... Я забираюсь на мостки на железных

сваях, с кое-где сохранившимся деревянным настилом, в пятнах соли там, где вода успела испариться, и наживляю на крючок мякиш из забракованной лепешки. Этот способ ловли я перенял у местных. Рыба тут клюет на все что ни попадя. Только подсекай.

Но – соответственно наживке – это все мелюзга, с пол моей ладони. Я не знаю, как ее называют, знаю только, что она вкусная и почти без костей. Морские бычки? Окуньки? Присутствие запеченных в тесте жучков, видно, придает моей приманке особенно деликатесный вкус, потому что клев бешеный. Некоторые рыбешки срываются с крючка, и темные, как баклажаны, мальчишки ловят их на лету и возвращают мне. У них радостные улыбки и преданные глаза, хотя это все беднота. Но бедняками они себя не чувствуют, они чувствуют себя счастливыми. Они знают, что я русский. Россия – это куайс, хорошо, а Америка, Израиль – это мушкуйас, то есть плохо. Они так готовы услужить мне, что распугивают всю рыбу, и я перебираюсь на самые дальние мостки...

Тут я иногда плаваю, в маске и ластах, которые оставил мне Сомов. Я уже изучил эти места, но далеко вглубь стараюсь не заплывать – побаиваюсь. Там могут быть и акулы, хотя говорят, что к берегу они не приближаются. За полгода Сомов видел их лишь дважды, да и то у острова Шедуан, который едва различим вдаль.

А воздух все шелковистей, все мягче, солнце висит теперь золотым диском далеко за горами, отчего горы неузнаваемо преобразились, – теперь это не серое пыльное стадо, а декорации к сказке из «Тысячи и одной ночи». Те, что ближе, – синие, фиолетовые, а дальше они лиловые, розовые, и три-четыре этих разноцветных слоя выступают один из-за другого и глядят, словно привстав на цыпочки, в мою сторону – видно, им небезразлично, чем кончится моя рыбалка и будет ли у нас с Ефимовым добрая уха на ужин.

Вечереет стремительно – мальчишек уже нет. Темнота разогнала всех по домам. Дай бог, чтобы и у них было что поесть. Я остаюсь один. Я и горы.

И закат за ними. Теперь главное не они, а закат – горы же почти слились в одну ломаную линию, темную, во весь горизонт, будто огромная грозовая туча приземлилась далеко в пустыне, а над этой ломаной линией, похожей на график-самописец вечности, слагающейся из событий дней, лет и столетий, горит-догорает небо. Оно восходит от оранжевого к изумрудно-зеленому или, наоборот, нисходит от изумрудно-зеленого к желтому и золотому – ниже его лишь ломаная кромка аспидных гор, как график земных страстей, горестей и бед. И только небо избавлено от страданий. Хвала Аллаху – Аллах акбар!

Море словно ушло в тень, и закат почти не отражается в его маленьких теплых волнишках... Вместо заката на них, точно от одного рубильника, включаются огоньки – это зажгли свои фонарики крошечные существа, называемые одним общим словом «планктон», хотя среди них не найдешь и двух одинаковых особей. Так издревле повелось – когда солнце скрывается за горизонтом, темная половина Земли достает собственные аккумуляторы и батарейки.

Грустно во тьме. Боязно и одиноко. Только мне хорошо одному на просоленных досках мостков, в глазах у меня еще непогасший закат, вокруг голубые огоньки морской иллюминации, а в полиэтиленовом пакете – добрый килограмм морских окуньков... Я не спешу уходить, мне жалко уходить. В домике губернатора Хургады, что справа на берегу, под пальмами, зажглось окно, вспыхнул свет и на втором этаже нашего бунгало, где ждет меня голодный майор Ефимов. Ну что ж, пора...

* * *

До Каира из Москвы четырехмоторный Ил-18 летел пять часов. Ночью. Пять часов между сном и явью, лунный отблеск на вздрагивающем правом крыле, лунный блеск в невидимых кругах двух пропеллеров, а внизу – бездонная тьма; только когда пролетали над Тур-

цией, слабо обозначились складки гор, вернее снег, нарисовавший их, да ответным лунным светом случайно мигнуло зальделое горное озерцо... но опять все погрузилось во тьму, или это я закрыл глаза, а когда, будто меня толкнули, снова открыл и подался к иллюминатору – далеко под нами по черноте Средиземного моря плыла лунная дорожка, и только я к ней привык, как вдруг стремительно надвинулась умбристая полоса песчаного берега, и я не сразу осознал, что это началась Африка. Внизу, в дельте Нила, стали возникать и пропадать созвездия огней, их становилось все больше, и вот уже все зримое пространство земной ночи раздробилось на сверкающие кристаллы света, почему-то изумрудного, граненая геометрия огней, качнувшись, ушла вправо, слившись в одну дрожащую от нетерпения световую полосу, моторы взвыли, словно в последнем усилии, и навстречу нам смутно понеслась земля.

И еще одно, ставшее потом на долгие годы видением иной жизни, которой как бы и не будет дано: высокая молодая женщина, с распущенными по плечам волосами, в тонком длинном бирюзовом платье, – она улыбалась своим мыслям, прижимая к стройному бедру длинные загорелые руки с черной сумочкой, улыбалась, чуть касаясь лопатками прохладной мраморной стены, – она летела дальше на нескончаемый праздник богатых людей.

Пустынная, не считая ветра и чахлах пальм вдоль дороги, ночь, желтый сонный свет скромной гостиницы, новый чужой запах, смуглый охранник в салатовой форме, спать, спать... а еще – коварный краник из-под края унитаза, писнувший в одного из моих спутников.

– Япона мать! – отряхивался он, прежде не встречавшийся с восточным совмещенным вариантом биде. – Попробуй тут напиток!

На краю мира... Спать... Спать...

Утром – крик ишака, ослепительный свет и резкая тень на холодном каменном полу, а за окном, внизу, – как массовка из фильма – пестрая, в халатах, платках и шарфах, толпа, рыдающая арабская песня из транзисторного приемника и тихое шевеление узкой длинной листвы на незнакомых голоствольных эвкалиптах.

Я прилетел в военное время, названное тогдашним президентом Насером «активизацией боевых действий», а потом историками – «войной на истощение», начавшейся спустя два года после поражения арабов в Шестидневной войне. По ту сторону Суэцкого канала, на Синае, хозяйничали израильтяне, время от времени над нами распарывали небо израильские «скайхоки» и «миражи», ухала вдалеке дальнобойная артиллерия, и вся наша советническая миссия в Египте жила военной жизнью, и когда я читал наши опаздывающие на неделю советские газеты, то тассовская информация о боевых действиях в зоне Суэцкого канала, скажем в районе Исмаилии, чаще всего вызывала ироническую усмешку – ведь я только вчера оттуда вернулся...

Израильтяне имели явное превосходство в воздухе, успешно бомбили наши, то есть египетские, ракетные и радиолокационные установки, а наши, то есть египетские, МиГи неохотно ввязывались в бой, так как почти всегда терпели поражение, наши устаревшие ракеты земля – воздух были малоэффективны, а зенитная артиллерия ПВО, сколько я ее ни видел в действии, ни разу ничего не сбивала. Зато говорили, что танки у нас «что надо», но проверить их боевые качества арабы смогли лишь в 1973 году, когда у власти был Садат и в Египте уже не осталось ни одного нашего военного советника. Садата у нас поначалу считали «другом Советского Союза», верным преемником Насера, потом же, когда новый лидер Египта стал гнуть проамериканскую линию, прошел слух, что пятидесятидвухлетний здоровяк и, что называется, красавец-мужчина Гамаль Абдель Насер умер не без помощи своего лечащего врача. Тот втирал при массаже особую мазь, полученную от израильских спецслужб, которая постепенно приводит к параличу сердца. Эту версию я впервые услы-

шал от генерал-лейтенанта Голубева, Героя Советского Союза, летчика, советника командующего войсками ПВО Египта и моего главного начальника, которая после подтвердилась... Насер умер в 1970-м, Анвара Садата убили в 1981-м, и оба эти имени почти ничего не говорят нынешнему молодому поколению. Редко вспоминают и знаменитую Асуанскую плотину, «памятник советско-египетской дружбе», а сама дружба каких бы то ни было народов воспринимается как советский идеологический анахронизм. И еще Афганистан, огромной тенью заслонивший ту неизвестную нашу (мою) войну... Новая, неведомая, ни на что прежнее не похожая жизнь... Так что же там все-таки было?

Итак, однажды, через пять часов перелета, я попал из лютой московской январской зимы как бы в начало осени – ночь, плюс четырнадцать и темный ветер, чахлые деревца вдоль дороги, выхваченные светом фар нашего микроавтобуса, где сонно-устало молчала наша новоприбывшая команда. Возле таможни нас перехватил наш человек в пальто фабрики «Большевичка», кепчонке от «Красной Зари» и что-то долго вдалбливал невозмутимому таможеннику на том немыслимом арабском, на котором спустя полгода заговорю и я. Но и без арабского языка я понял, что русские, то бишь советские, здесь на особом, привилегированном положении.

А утром – начинающийся утробным визгливым скрипом иерихонский рев ишака, трубящего то ли о кончине мира, то ли о его рождении, молодой араб в полосатой, до пят галабее, неохотно уступающий автомашинам проезжую часть дороги, халаты, велосипедные тележки, вывески, жаровни, пряный, пестрый, кричащий, веселый, рыдающий мусульманский мир. К полудню было уже плюс двадцать, на солнце почти жарко, а в тени – почти холодно, и мои непривычно загорелые соотечественники, деловито сновавшие из кабинета в кабинет «русского офиса» (виллы в обрамлении вечнозеленых деревьев), советовали не снимать пальто во избежание почти неизбежной по приезде простуды.

Я не простудился, но на третий день страдал жестоким расстройством кишечника, случившимся по причине внушенной мне еще на московском инструктаже микробофобии: в Ниле не купаться, сырую воду из-под крана не пить, фрукты и овощи стерилизовать в марганцовке...

Мой сосед по комнате на третьем этаже нашей пересыльной гостиницы под названием «Сауд-2» маялся здесь в ожидании назначения уже целый месяц. Ему, майору, никак не могли определить ни места службы, ни подсоветного, и он, как и мы, новоприбывшие, по утрам ходил отмечаться в офис, а по вечерам глушил в гостиничном буфете бренди, выгодно обмениваемое в пропорции один к трем на нашу «Столичную». У него было полчемодана запасенных на родине мясных кубиков, так что он разнообразил свой рацион лишь местными лепешками и яйцами.

Все бешено экономили, копя на машину: за год – «москвич», за два – «Волга». Даже студенты-переводчики, получавшие меньше спецов, ухитрялись путем жестоких самоограничений наскрести за год на тачку, покупаемую притом без всякой очереди – на валюту, вернее на сертификаты. Вот и я из студента-бессребреника превратился вдруг в человека состоятельного, почти богатого, по советским меркам, и в мелкого буржуа – по арабским. Чувство материальной состоятельности было для меня абсолютно новым и приятным. Я не мог подавить его, превратиться в скупого рыцаря и пускать деньги на ветер, впитывая новые впечатления.

Многие мои коллеги, в отличие от советников, придерживались той же философии, но, думаю, немалую роль в этом играла наша молодость – ни жен, ни детей, романтика... Некоторые приехали сюда служить по распределению по окончании вуза, но были и такие, как я, взятые на год как бы на переводческую практику после четвертого курса – с английским языком в арабскую страну... Или у Министерства обороны не хватало собственных

кадров, или же студенты обходились дешевле. В любом случае я лично был премного ему благодарен за столь щедрый подарок.

Всех соотечественников, с которыми мне потом пришлось работать, я мысленно подразделял на интеллигентных и неинтеллигентных. Мой сосед по комнате относился явно ко второму разряду. Арабские же офицеры были отменно воспитаны, с хорошими манерами, исполнены достоинства и самоуважения – прежде чем соприкоснуться с нашим воинством, многие учились военной науке в Западной Европе, в военных академиях Франции и Англии, но после войны 1956-го за Суэцкий канал с объединенными силами этих стран, а особенно после поражения в войне 1967 года, когда Насер окончательно отвернулся от Западной Европы и от американцев, поддерживавших израильтян, этим офицерам ничего не оставалось, как принять по его решению и выбору нашу, советскую, дружбу и помощь.

Они были вполне доброжелательны, но скорее по долгу службы, все-таки нам не ровня – верхний слой египетского общества, военная аристократия и буржуазия. Мы явились в чужой монастырь со своим уставом, и они, униженные своим поражением и жаждущие реванша, вынуждены были терпеть наш полный превосходства тон. Как, впрочем, и раньше вынуждены были терпеть тех же англичан.

Все мы, советские, осознавали себя представителями великой и мощной державы, пришедшей на помощь младшим египетским братьям, – многое нам здесь казалось диким: вопиющая бедность рядом с богатством, неистовая религиозность, тотальная неделовитость, это вечное «иншаалла» – «на то есть воля Аллаха»... Мы-то как бы уже решили все социальные вопросы, у нас-то не было нищих, безработных, у нас были дешевые продукты питания и жилье, бесплатная медицина и обязательное среднее образование, могучие армия и флот и космическая программа, где мы шли нос в нос с американцами, – те готовились к высадке на Луну, а мы запускали туда автоматические станции, и это казалось разумней, – наше слово в международных делах было весомым, наши аргументы, подкрепленные наличием атомных боеголовок, убедительны. У нас были бригады коммунистического труда, дома высокой культуры, мы еще строили коммунизм, до которого оставалось чуть более десяти лет. Наше оружие успешно противостояло американскому во Вьетнаме, наконец, мы только что решительно разобрались с Чехословакией... Наши советники поучали, а подсоветные слушали и деланно кивали.

* * *

Одному появляться в городе не рекомендовалось, все-таки хоть и дружественный, но дикий народ. Стоило завести с моим соседом разговор об арабах, как он начинал материться. Его тут решительно ничего, кроме зарплаты, не устраивало, даже местные мухи: они были назойливее отечественных, видимо голоднее. Да и он сам подсох за месяц, слегка осатанев от бульона с яйцом вкрутую и мутного бренди, в русско-татарских глазах его появился нервный блеск, и он звал меня с собой на «русскую виллу» (как бы наш Дом культуры), где можно было познакомиться с русской женой какого-нибудь советника, окопавшегося в танковой бригаде в Аравийской пустыне.

– Вот так и моя фря, – говорил он, ожидая приезда жены, – будет мне изменять, пока я там с евреями буду переплевываться.

Но о женщинах я пока не думал, а если и фантазировал о чем-то таком в неясном будущем, то воображение почему-то мне рисовало женщину Востока.

У моего майора были впалые щеки и тонкие злые губы, которые он кривил на любой мой ответ, и не потому, что тот его не устраивал, а по закону старшинства, как бы знающего все на два воинских звания основательней, чем я, новоиспеченный университетский

лейтенант. Единственное, за что он меня все-таки уважал, – это за знание языка. Без языка тут швах. На точке, куда его планировали послать, даже переводчика не полагалось – вот и выдерживали в городе, пока он нахватается арабского или пока ему не подберут подсоветного, учившегося у нас, в Союзе. Но ничего, он проживет и на точке, по крайней мере, воскресенья в Каире у него никто не отнимет, тут, если это не Асуан, до самого далека не больше трехсот километров, вот если только жена бл. овать не будет. Я хотел было поинтересоваться, почему он такого плохого мнения о своей жене, но не стал.

...До площади Рамзеса мы доехали на трамвайчике, а дальше двинулись пешком. Площадь Рамзеса – это не только железнодорожный вокзал, откуда можно укатить на север, в Александрию, и на юг, в Луксор и Асуан, это еще и древнеегипетская базальтовая статуя Рамзеса и фонтан. Мощные струи били под углом как из пожарных брандспойтов, словно чтобы разогнать сизый вечерний угар улиц. Тротуары были запружены ободранными людьми, по дорогам мчались ободранные автомобили, но вся эта неведомо куда спешащая, кричащая и гудящая пестрая бедная масса выглядела вовсе не раздраженно и не угрюмо, а даже как-то весело и азартно, демонстрируя какую-то загадочно-могучую национальную радость и любовь к жизни...

Тем временем майор довел меня до торговых рядов и витрин, памятуя о том, что я собирался купить себе кожаный портфель. Было такое портфельное время, как теперь – рюкзачно-сумочное, и я не представлял себе своего делового экстерьера без красивого портфеля из натуральной тисненой кожи с накладной пряжкой и позолоченным или никелированным замком. Обилие товаров в центре торгового Каира меня поразило, особенно в сравнении с витринами моего отечества, предлагавшего в ту пору своим согражданам серый минимум необходимого. Здесь же было все, в том числе тысячи видов портфелей, глаза разбегались от невозможности выбрать, и я казался себе богачом, потому что портфель можно было купить всего за шесть египетских фунтов.

– Три! – тут же поправил хозяина магазинчика мой уже искушенный в торговле по-арабски майор.

– Мушмумкен! (Невозможно!) Шесть! – отвечивал хозяин, толстенький смуглый человек моих лет с коротко остриженной сизоватой головой.

– Ле мушмумкен? (Почему невозможно?) – с полоборота завелся майор. – Ты нам мозги не крути. Покупателей нет – товара до хрена. Не хочешь – уйдем. – Примерно такой смысл вкладывал он в неизвестные мне арабские слова.

– Четыре с половиной, – ответил хозяин, глядя на нас кротко, но твердо. Плохо же он знал моего взвинченного соседа, не догадывался, как тому надоел этот бесконечный базар-вокзал, ничего прочного, стабильного, надежного, никакого удовлетворения от покупки, когда выторгованное тобой в горячей схватке за три тут же, напротив, тебе предложат за полтора.

– Це-це-це, – входя в кураж, процекал он, как метрономом покачав указательным пальцем перед носом хозяина.

– Три! Талята паунд, и ни копыа больше!

– Четыре, – сказал хозяин, – четыре фунта – и забирайте портфель, он ваш.

Но майор не собирался отступать.

– Да черт с ним, – сказал я, уже сожалея, что ввязался в эту историю, – я заплачу четыре. – Я готов был переплатить, дабы высоко нести дальше по Каиру честь представителя великой державы.

– Нет уж, постой! – схватил меня майор за руку, когда я потянулся за деньгами, будто это не я, а он покупал. – Три и все. Халас. Это дело принципа. Пусть радуется, что мы вообще к нему зашли. А могли пройти мимо. Понял? – повернулся он к хозяину магазинчика. – Портфелей до фи́га. Посмотрим в другом месте.

– Смотрите здесь, – сказал хозяин. – Три с половиной.

– Вот кнут, бляха муха! – удивился майор, похоже, впервые столкнувшийся со столь упорным сопротивлением. – Нет, ты погоди, мы его расколем. Три фунта! – выбросил он три пальца перед арабом. – Три фунта – и порядок, куллю квайс.

– Хорошо, – сказал араб. – Три фунта за портфель – десять пиастров для меня.

– Три фунта! – засмеялся майор в предвкушении окончательной победы. – Три фунта, или уходим. – И погрозил арабу пальцем. Человек, вдвое скинувший цену, был, по его разумению, безусловно, мошенником.

– Ладно, три, – сломался араб.

Я с виноватым видом достал из кармана три фунта.

– А вот погоди! – загорелся новой идеей майор. Победы ему уже было мало. – Переведи ему, что мы сейчас пойдем посмотрим, что у других продавцов...

– Он не понимает английский.

– Понимает. Они все понимают, когда нужно.

Я перевел. Я перевел и добавил, пусть он пока отложит наш портфель, мы скоро вернемся. Араб вспыхнул, покраснел, глаза его засверкали.

– Тогда нет портфель за три фунта! – страстно сказал он.

– Не хочет за три? – зевнул майор. – Ну, что ж, пошли. – Обняв меня за плечо, он подтолкнул к выходу. Я молча подчинился. Лучше было уйти, чем терпеть этот невыносимый, с моей точки зрения, позор. Но у входа я с удивлением остановился. Перед нами, загораживая дверь, стоял хозяин. Стоял он вежливо, но твердо, глядя в сторону, и был в его глазах какой-то всепрощающий свет. Майор первым понял причину.

– Два девяносто? – переспросил он.

– Два девяносто, – горестно вздохнул араб и вернулся за нашим портфелем.

– Во пройда! – восхитился майор. – Я ж тебе говорил. Хочешь, за два с полтиной оттяну?

– Хватит, – сказал я.

– Ну смотри... – протянул майор, покрутив плечами в избытке еще нерастраченных сил.

Расплачиваясь, я не смел поднять глаз – мне казалось, что мы, пользуясь военным временем, когда покупательная способность населения резко упала, а туристов нет как нет, беспардонно обираем честного человека. Каково же мне было, когда, неувловимым движением спрятав деньги и сунув мне почему-то сразу потерявший свою привлекательность портфель, молодой хозяин магазинчика вдруг полностью преобразился – широкая улыбка осветила его круглое лицо, он дружески пожал нам руки, предложил по чашке кофе и пригласил заходить еще.

От кофе мы отказались, и всю дорогу майор вразумлял меня, говоря, что неторгующийся человек подобен здесь сумасшедшему или ишаку. Затем он решил по старой памяти посетить отель «Виктория» в центре города, откуда его и переселили в этот злосчастный «Сауд-2». «Это недалеко...» – беспечно махнул он рукой, но мы проблуждали минут двадцать, прежде чем он, такой непререкаемый, вдруг злобно признался, что не знает, куда идти.

А вокруг был Каир. Подсознательно я удерживаю себя от описания его улиц, его толпы, его жизни, вынесенной из домов и квартир на тротуары... На каждом шагу что-то продавалось, вещи, предметы, сонм каких-то мелких изделий, избыток деятельности человеческих рук, неумолимое добавление к сделанному вчера. Сувениры, дешевая бижутерия, американские сигареты, а на попыхивающих дымком тележках – разнообразные жареные съедобности. Да, вот он, щекочущий ноздри пряный дымок, запах Каира. А еще другие тележки, полные узнаваемо перезванивающих льдинок – в них прохладительные напитки, а еще лавочки с никелированными соковыжималками: заложил апельсин, даванул на рычаг – и нет апель-

сина, а все его содержимое в твоём стакане. Три апельсина – стакан сока, пять пиастров. За столько же можно купить целый килограмм.

И все-таки описание Каира где-то впереди. Я его пока не вижу. По цвету он коричнево-серый, покрытый пылью, с европейской добротной архитектурой, но запущенный, с приметами общего упадка. Жизнь переломилась – прежнее ушло, а новое с трудом себя определяет. Нищета на каждом шагу, но какая-то веселая, неуниженная. Арабская улыбочка. И подспудное чувство, что египтянин свободней моего соотечественника, душевно свободней, естественней и непринужденней. Мой соотечественник легко узнавался по походке еще издали на любой, даже забитой людьми улице. Походка советского, а может, и русского человека – это наша история в картинках. Здесь агрессия и неуверенность и какая-то рабская хамоватость, ожидание окрика и жажда остаться незамеченным, здесь так много оттенков, что они поедают друг дружку, предоставляя глазу одну механику движения ножных мышц, спины и плечевого пояса, – так движется человек, только что вынутый из холодильника. Нет, еще не все. Это и походка осуждения, ибо чужую, иную, другую жизнь советский человек воспринимает болезненно, враждебно – она или выше или ниже его, но в обоих случаях он мучается. Советский человек не чувствует себя гражданином мира, не научен жить в настоящем – настоящим он живет воровски, украдкой от надзирающего за ним государства, строящего для него будущий рай. Советский человек всегда чувствует себя виноватым перед государством, если живет по-своему, и почти всегда готов к наказанию за своеволие. Все это – в его походке, и мне досадно, что, видимо, таков и я.

– Ну что, возьмем такси? – предложил вдруг майор, еще недавно уговаривавший меня пользоваться трамваем, поскольку такси дорого и небезопасно. Видимо, он решил, что мне будет приятно истратить на коллективный интерес сумму, которую он отторговал в мою пользу. Он еще не успел поднять руку, как возле нас резко затормозило такси, опередившее десяток других, бросившихся нам навстречу. Да и что говорить, если на всю улицу мы были, кажется, единственными иностранцами.

– Готель «Виктория»! – важно сказал майор, усаживаясь сзади и уступая мне почетное место рядом с водителем, место платящего по счетчику.

– Айуа, мистер, – задумчиво, наискосок кивнул пожилой сухощавый морщинистый араб, и мы поехали. Точнее будет сказать, что мы поползли, ибо передвигались в стаде непрерывно сигнализирующих клаксонами машин со скоростью пешехода.

– Где готель «Виктория», знаешь? – строго спросил майор таксиста, демонстрируя мне правила обхождения с таксистами.

– Да, мистер! – еще раз по изящной диагонали кивнул тот и, воспользовавшись образовавшимся впереди ничейным пространством, решительно повернул направо. Затем он столь же решительно крутанул баранку налево, и мне показалось, что улицу за стеклом машины я уже видел.

– Куда же ты едешь, бляха муха? – спохватился майор и постучал водителя по плечу. – Нам нужен готель «Виктория». Лязем.

– Айуа, мистер! – кивнул араб и что-то добавил в том смысле, что туда мы и держим путь.

– Куда же ты попер?! – теперь уже всерьез вцепился ему в плечо мой майор. – Это ж рядом, я ж знаю.

– Айуа, мистер! – кивнул араб, и старое философски-равнодушное лицо его слегка озадачилось.

– Я тебя, кнут, раскусил! – оскалился майор и совсем, как тому маленькому желтолицему арабу, погрозил таксисту пальцем. – Нарочно крутишь. Денежки, флюс, накручиваешь! – И майор потыкал в сторону старинного счетчика, укрепленного не в кабине, а снаружи, но в пределах нашей видимости.

– А где отель «Виктория»? – вдруг быстро и взволнованно заговорил араб. – Нет никакой отеля «Виктория». Мафиш!

– Если мафиш, куда же ты нас, кнут, везешь? – Майор был уверен, что араб его прекрасно понимает. Таксист что-то пробормотал и, махнув рукой, остановил своего коллегу. Опустив стекла, они перебросились парой фраз. В секунду понабежал народ, готовый услужить, что рождало ощущение необыкновенной нашей значимости. Мальчишка протирал тряпочкой лобовое стекло, другой уже открывал дверь, полагая, что мы приехали, двое юношей в галабях одновременно указали нам направление к «Виктории»: один налево, другой – направо.

– А ну вас к аллаху, – сказал майор, вылезая в открытую дверцу и намеренно не замечая протянутую к нему худую мальчишескую руку. Я расплатился с таксистом и тоже вылез. И правильно сделал. Неприметная вывеска отеля «Виктория» была как раз перед нами.

Внутри было также неприметно, кроме того, тихо и пусто. Грустный араб по имени Ахмед встал ради нас за стойку бара. Он помнил майора. Еще недавно новоприбывших из Союза привозили поначалу сюда. Теперь их принимал «Сауд-2», и здесь вообще никого не стало. И никаких доходов. Война разогнала всех туристов – теперь мало кто из иностранцев посещает Каир. Разве что богачи. Но они останавливаются в дорогих отелях на берегу Нила. А тут лишь русские и чехи, чтобы что-то строить или армии помогать.

В баре мы сидели одни, потягивая горьковатое пиво. Чтобы малость поправить дела Ахмеда, я купил дорогие американские сигареты. Майор предпочитал местный недорогой «Бельмонт». Видимо, я поспешил с сочувствием, поскольку оказалось, что Ахмед здесь вовсе не владелец. Гостиница принадлежала некой гречанке, жившей в Италии и наезжавшей проверить дела не чаще двух раз в год. Ахмед был управляющим, получал он втрое меньше меня – двадцать египетских фунтов в месяц. Фунт, кажется, оставался конвертируемым и не очень уступал английскому. У Ахмеда была жена, пятеро детей и трехкомнатная квартира. Платил он за нее девять фунтов в месяц. Я угостил его американской сигаретой – он с удовольствием затянулся, сохраняя, однако, на лице печаль.

Быстро, по-зимнему, темнело, и, когда мы отправились к себе домой, за Каиром, на той стороне Нила, еще не виденного мной, садилось солнце.

* * *

Помню некоторую муку первых своих походов в русский офис, похожую на ту, что испытывал я маленьким мальчиком-первоклассником по пути в школу, – как бы не заблудиться. В первый день школы, 1 сентября 1949 года, я и заблудился. Хотя накануне мама специально прошла со мной весь путь до школы с просьбой, чтобы я хорошенько его запомнил. Идти было недалеко, всего-то два квартала, но два – не один, и я ухитрился на обратном пути свернуть не туда. Моя сбившаяся с ног матушка нашла меня лишь под вечер: я сидел в нише какого-то дома – не плакал и никого ни о чем не просил, просто сидел, потому что не знал, куда идти. Вечная занятость родителей – оба работали инженерами на каком-то очень строгом закрытом предприятии – приучила меня сизмальства к необходимости самому осваивать неизвестные пространства. Новые незнакомые места не вызывали у меня чувства дискомфорта, и с годами у меня даже выработалась уверенность, что я хорошо ориентируюсь на местности.

Что-то похожее случилось со мной и в первые дни пребывания в Каире – когда я самостоятельно отправился пешком в русский офис. Я в общем запомнил путь, показанный мне моим майором, но по выходе на шоссе в уже богатой части Гелиополиса повернул не в тот переулок... Вроде я шел в нужном направлении, глядя на верхушки пальм, на чистые линии особняков за эвкалиптами, на с утра вымытые, еще мокрые, в отблесках солнца, плиты тро-

туара, на арабов в военной форме – они и охраняли наш офис и простой люд не подпускали, – и углубился в этот пустынный переулок, чувствуя, как вырастает напряжение вокруг меня: напряжение это шло от охранников в форме рейнджеров (зеленое сукно курток и брюк, малиновые береты), что стояли возле ворот в какой-то обрамленный зеленью особняк. С независимым видом я шел прямо на них, держа в руке только что купленный кожаный портфель, и чувствовал, что все их внимание сосредоточено именно на этом портфеле, притом что на араба я был совсем не похож. Один из охранников – высоченный красавец с автоматом на груди – двинулся мне навстречу, вопросительно глядя на меня и на мой портфель, и тут мои мозги озарила догадка, что я иду вовсе не в свой офис, а к вилле президента Египта Насера, она находилась по соседству с нашим офисом, о чем мне было сказано еще в первый день. Араб с автоматом на груди был уже почти рядом, когда, спохватившись, я сказал по-английски:

– Извините, кажется, я ошибся. Мне нужно в русский офис.

С лица араба схлынуло напряжение, и он готовно вытянул руку в требуемом направлении:

– Это там, русский офис – это там...

Я услышал, как охранники, стоящие у ворот, передают друг другу информацию обо мне, словно успокаивая друг друга:

– Хена руси хабир. (Это русский специалист.)

Наверняка в какой-то момент они меня приняли за террориста-самоубийцу со взрывчаткой в портфеле... Хорошо, что не задержали для выяснения личности, – это могло быть чревато...

* * *

Как-то угораздило из центра Каира возвращаться через Булак – район трущоб. Дома как развалины, без крыш, потому что и на крыше живут, балки торчат под будущие этажи. Дома тут растут вверх по мере разрастания семьи. Но живут не в домах – там только спят и делают детей, – живут на улице, в грязи, но не российской, а восточной – живописной. Нищета здесь отчаянная, но бедняки, попрошайки всегда веселы и в хорошем настроении. Мимо меня на двух тележках, запряженных осликами, прокатило многочисленное арабское семейство. Свадьба! Семья восседала на новом атласном стеганом одеяле розового цвета, в обрамлении новых атласных подушек. Видать, приданое! Все пели во все горло, прихлопывая в ладоши и всячески демонстрируя затрапезной улице свою ни с чем не сравнимую радость.

На второй тележке ехали шкаф с зеркалом и новая сверкающая на солнце посуда огромных размеров. Жениха и невесты не было. Прохожие провожали кортеж приветствиями и тоже принимались петь и прихлопывать. Затем осликов пустили вскачь ради пущей ажитации, и я еще раз подивился выносливости этих скотинок. Вот только кричат они по утрам не в меру – сначала раздается тонкий металлический визг и скрежет, а уж затем утробный трубно-пароходный рык как извещение о том, что пора в путь-дорогу.

Люди здесь дружны и миролюбивы. Если и случается на улице ссора, то выражает она себя лишь в патетических жестах. В переполненном донельзя душном трамвае или автобусе не услышишь ругани, не увидишь озлобленных лиц.

Еще только февраль, но город полон цветов и цветущих деревьев и отдаленно напоминает наши южные причерноморские города. Днем температура плюс двадцать пять, ночью опускается до двенадцати. Днем город ленив и неповоротлив и оживает лишь после пяти вечера, когда начинает темнеть. В центре улицы запружены людьми и машинами всех марок, которые, несмотря на тесноту и толчею, несутся с бешеной скоростью. На улицах преиму-

щественно мужчины, но немало и женщин. Мужчины красивы почти все, и женщины тоже красивы. Европейки рядом с ними блекнут. Но самых красивых арабов обычно не увидишь на улице – их возят в роскошных закрытых машинах самоуверенные женихи-мужья. Впрочем, у арабов, как у грузинок или армянок, как правило, широкие бедра, да и ноги не слишком стройны и, пожалуй, коротковаты по европейским стандартам, но глаза – никогда прежде не видел таких сумасшедших глаз. Однако в глаза они смотрят редко.

В кофейнях сидят одни мужчины, играют в кости, в нарды, в карты, в шахматы. Курят кальян. Все помещения, не говоря уже об улицах, пропитаны запахом здешней жизни, похожим на какую-то острую приправу с перцем, уксусом и имбирем. К этому нужно привыкнуть.

Кажется, что облака идут над самой вершиной пирамиды Хеопса. Когда-то гладкая, она стала ступенчатой, и можно подняться по камням наверх. Местные чемпионы проделывают путь туда и обратно за семь минут. По узкому проходу углубляемся внутрь. Водит нас гид-араб, едва говорящий по-английски. С гордостью показывает часы на руке, которые ему вроде подарил Хрущев во время визита в 1964 году. Внутри, в одном из помещений, где камень отшлифован до блеска от миллионов прикосновений, – пустая гробница. Пирамида была разграблена еще в далекой древности. Воздух спертый, гулкое эхо словно дух, ищущий свое спеленутое тело.

Все надземное величие пирамиды находится в трагикомическом соседстве с земными интересами тех, кто с утра до вечера пасется здесь, чтобы хоть как-нибудь заработать. Из-за войны туристов теперь мало, и потому каждый на вес золота. Завидев наш автобус, несколько арабов пускают в галоп своих пестро украшенных верблюдов, и не успеваем мы вылезти, как уже окружены этими огромными грязными животными, с которых свешиваются их назойливые хозяева. Я иду к пирамиде, чтобы пережить в молчании и тишине материализованную вечность, но за мной уже гонится молодой араб на своем верблюде, у которого почему-то устрашающе хрипит все нутро, будто сей корабль пустыни осуждает меня за нежелание прокатиться на нем. Араб соскакивает с верблюда и повисает на мне в знак особой приязни. «Look, мистер, look!» – восклицает он, изо всех сил пытаясь подтянуть ко мне морду верблюда, чтобы я убедился также и в эксклюзивной приязни последнего. Но поскольку бедное животное не очень понимает, что от него хотят, араб сам обнимает его голову и звонко чмокает его в словно поддутую изнутри верхнюю губу. Верблюд томно прикрывает глаза. Видимо, эта сцена должна расслабить не только меня, но и мой кошелек.

Да, требуется немалая твердость, чтобы отстоять свою независимость вместе с содержимым кошелька, а кто мягок и уступчив, тому крышка. Хозяин верблюда, осознав наконец, что мирное животное не соответствует моему представлению о верховой езде, нашаривает в складках своей галабеи грубую поделку из песчаника и таинственно, как своему, шепчет, что это «антик» и всего-то за десять пиастров. Понятно, что этот «антик» сделан вчера на соседней улице, ну да ладно... Впрочем, так просто все равно не отделаться. Получив деньги, продавец хватается за голову, цокает языком и, возведя очи горе, сообщает, что на самом деле эта вещица стоит вдвое дороже, и он сделал такую сумасшедшую скидку только ради того, чтобы привлечь внимание к своему товару, и вряд ли такой благородный мистер, почти друг-садык, воспользуется этой минутной слабостью... Однако, возместив убытки, продавец снова по локоть запускает руку в мошну своей галабеи и вытаскивает оттуда точно такой же «антик», только уже всего лишь за пять пиастров.

Поодаль – загадочная гора, Сфинкс с отбитым носом и расплюснутыми лапами. Дальше начинается пустыня цвета темной охры, с барханами, что исслежены широкими стопами верблюдов, а по другую сторону в знойном свечении зелени – Каир.

Кажется, что о нем ни говори, все ему впору. Каир – это мягкие теплые утренние часы с нежными красками неба, с тихой листвой, с птичьими голосами и мокрыми, только что заботливо политыми тротуарами возле лавочек, кофеен и магазинов, это жаркие пропыленные дни с вонью отбросов и грязи, с запахом фруктов и выпечного снадобья на пестрых нищих улочках, это козы, ишаки и философски молчаливые старики в галабеях на голое тело, это чумазные быстроглазые мальчишки, продающие жевательную резинку, газеты, расчески и авторучки, Каир – это вечера с быстро сгущающейся темнотой и вспыхивающей повсюду рекламой, это силуэты Города мертвых со склепами и мечетями, это голоса муэдзинов, растекающиеся далеко по кварталам с высоты минаретов, это хозяин лавочки, постеливший на тротуар под носом у прохожих свой коврик и с молитвой на устах опустившийся на колени спиной к проезжей части улицы, к ее многоголосому гулу, Каир – это бегущая строка названий американских кинобоевиков на фасадах кинотеатров, это потоки машин с сочными, будто восточными, голосами клаксонов, это кофейни, грязные и гулкие от азартных щелчков костяшками о столы, это тележки-жаровни, сладковато дымящие из своих тонких труб, их поджаренные солоноватые орешки так хороши к пиву, Каир – это богатство и нищета, роскошь и запустение, это веселые и привязчивые продавцы, сразу узнающие нас, русских, и приветствующие криком «караше, караше!».

Да, арабы красивы поголовно – даже чистильщик обуви возле нашего дома, к которому я заглядываю раз в неделю.

– Как дела, мистер? – кричит он, еще издали завидев меня.

Я подхожу.

– Чистим-блистим? – спрашивает он и снова повторяет: – Как дела, мистер? Слява богу?

Чистит он долго, тщательно, он весь уходит в работу, голова его мотается слева направо, а потом справа налево, он словно разглядывает обувь со всех сторон под разными углами, дабы не упустить ни одного пятнышка, – мелькают локти, щетки, кисти рук – гуталин он намазывает на туфли прямо пальцами... Наконец, стукнув щеткой по ящику, он сигнализирует, что работа закончена, поднимает на меня свои прекрасные глаза и снова повторяет:

– Как дела, мистер? Слява богу?

Больше по-русски он ничего не знает.

Шофер Ахмед, который иногда возит меня на газике, вдруг отрывает руку от руля и, показывая на кошку, перебегающую улицу, радостно провозглашает:

– Кошка!

Они учатся русскому у нас, мы арабскому – у них. Самое удивительное, что я уже могу объясняться с нашим шофером по-арабски, затрагивая довольно широкий круг бытовых тем.

* * *

Недели две тревожного ожидания – куда направят: в пустыню на танки, на канал к зениткам или оставят с пишущей машинкой в Каире? К Каиру уже прикипела душа... Я трудно привыкаю, а, привыкнув, еще труднее отвыкаю. Я люблю путешествовать, но по своему складу домосед, и жажда перемен для меня не заманчивей обжитого угла. Я с трудом снимаюсь с места, хотя редко жалею об этом.

Уже никуда не хотелось из своего «Сауда-2», от этих утренних и вечерних эвкалиптов за окном, от темного пустого кафе внизу с прогорклым запахом какого-то масла, на котором готовили мне нечто вроде курицы, от утреннего медного рева ишака, криков зеленщика и водноса, даже от нового соседа, Валерки Караванова, сменившего моего майора, отправленного в – дальше не придумаешь – Рас-Банас. Как и я, Валерка, купив разноцветные фло-

мастеры, новинку тех лет, зарисовывал все подряд – потому что и подряд вокруг была одна экзотика.

В офисе отметили эту нашу слабость, ибо слабостью, конечно, было показывать кому-то наброски, отметили и велели наносить на карты Египта схему противовоздушной обороны, налаживанием которой и были заняты в ту пору наши спецы. Мы изображали значками радиолокационные станции и вычерчивали циркулем круги, обозначающие границы обнаружения самолетов противника. Границ было две: красная – для высоколетящих и желтая – для низколетящих целей. Низколетящие самолеты можно было обнаружить лишь в непосредственной близости от населенных пунктов, и казалось само собой разумеющимся, что именно так и будет действовать авиация противника. Но границы обнаружения на больших высотах выглядели столь внушительно и располагались так далеко от жизненно важных центров страны, что только этим жирным красным линиям и хотелось довериться. Весь Нил с его дельтой выглядел на карте как цветок лилии или лотоса на тонком длинном стебле. Севернее Луксора возле этого стебля не наблюдалось ни желтых, ни красных кругов или полукружий, и это-то в настоящее время и являлось предметом переговоров советской и египетской сторон. Карта готовилась под присмотром советника командира ракетного дивизиона майора Гусева, тридцатипятилетнего здоровяка, терпеливо выслушивавшего претензии по части нашего использования – все-таки мы были переводчиками, а не графиками-чертежниками.

– Вы в армии, ребята, – говорил Гусев. – В армии что прикажут, то и делаешь. Прикажут мне рисовать, и я нарисую.

– А почему мы должны тратить свои фломастеры на вашу карту? – подмигивал мне Валерка.

– Резонно, – ответил Гусев и на следующий день вручил нам «казенные» фломастеры. Только случайно мы узнали, что он их купил за свои кровные. В ту пору нам была еще внове египетская валюта, и мы считали каждый пиастр.

Отношение советников к переводчикам было скорее гражданским, неуставным, чем военным, хотя у всех у нас имелись звания. Не помню ни одного случая, чтобы мне что-нибудь приказали. Скорее просили: «Пойдем-ка поговорим с капитаном Хасаном». Мое же гражданское самоощущение усугублялось еще и тем, что я, в отличие от того же Валерки Караванова, считался вольнонаемным, студентом, у которого впереди еще пятый курс; я как бы проходил одновременно две практики: как лейтенант – военную (по окончании военной кафедры) и просто переводческую, что давало мне возможность пользоваться то одним, то другим статусом в зависимости от ситуации...

Перед Гусевым я корчил из себя вольнонаемника и однажды даже не вернулся, как надлежало, после обеда в офис, чтобы закончить карту, сочтя просьбу вопиющим посягательством на мой драгоценный досуг. На следующий день Гусев ничего мне не сказал. Он не пожаловался на меня, не доложил вышестоящей инстанции, что сулило бы мне какие-то еще неясные неприятности. В итоге мы разрисовали карту почище деревянного саркофага, коими был завален Каирский национальный музей. Заканчивая ее, мы и не знали, что именно благодаря этому обстоятельству направлены для работы в штаб ПВО, располагавшийся в новом районе Каира Наср-Сити-2. Ну а майор Гусев Вячеслав Степанович погибнет во время авианалета на его ракетный дивизион в районе Суэцкого залива. Я узнаю об этом одним из первых, так как в ту ночь буду дежурить на командном пункте ПВО в Гюшах.

* * *

Мне пришлось расстаться с приютившей меня гостиницей на тихой окраине Гелиополиса и перебраться в один из недавно построенных одиннадцатизэтажных каменных блоков

Наср-Сити. До моего штаба было десять минут ходьбы, за нашим домом начинался пустырь, а за пустырем – на тысячу километров – пустыня. В квартире на седьмом этаже, где я поселился, было три комнаты и холл. Была она новой, просторной, прохладной, пол из шлифованной каменной крошки на цементе. Зимой, конечно, с таким полом неуютно, зато летом он дарит прохладу. А египетская жара страшнее египетского холода.

Неожиданное одиночество в этой квартире, хотя нас там проживало по меньшей мере пять человек. Но получилось так, что меня, пэвэошника, поселили вместе с танкистами, и рано поутру они укатывали в пустыню, к Суэцкому каналу, где дислоцировалась их танковая бригада. Я жил с ними порознь, помню только один коллективный интерес – покупку джинсов в каком-то магазинчике, торгующем контрабандой. Тогда для нас, советских, джинсы были вещью редкостной, почти недоступной. А тут вдруг всего за три с небольшим фунта... Помню коллективную поездку в этот магазин, примерку в каком-то узком, без окон, закутке и новое, незнакомое прежде ощущение их плотной тугой тяжести на бедрах. Казалось, поставь джинсы на пол – и будут стоять. Их следовало замочить, чтобы сели и стали наконец как бы одним целым с нижней частью тела, что больше всего в них ценилось и ценится по сю пору. А еще все покупали портативные транзисторные приемники – «шарпы», «панасоники», роскошь тех лет.

Помню своих танкистов, вваливающихся в квартиру во второй половине дня и сразу же, без паузы, включающих свои приемники. Музыка тогда была мелодичной, никто еще не кричал в микрофон. Надрывно-роковая убитая ножом «Dear Lyla», луженая глотка Тома Джонса, бархатный Хампердинк, женская меланхолия Сальваторе Адамо с его падающим снегом («Tomber la neige, tu ne viendras pas ce soir»), музыкальный эфир еще мелодичен, мелодию еще не съел рок... золотисто-пронзительная Мирей Матье, голубоватый Рафаэль, задушевная Мэри Хопкинс с прокатившейся по земному шару английской версией русской цыганской песни «Ехали на тройке с бубенцами», «Strangers in the Night» Фрэнка Синатры (это про меня), плейбой под сахарной пудрой Элвис Пресли, ностальгические новации «Битлз», моих однолеток и духовных братьев. Еще год до того, как они распадутся, поврозь превратившись в легенды. Помню свои ночные бдения с этой сладко терзающей сердце транзисторной музыкальной грезой. Обещание красивой жизни, журнальный гламур.

Итак, четыре танкиста-переводчика – Володя, Стас, Саня и Серега – да еще какое-то время Бунчиков, тоже, как и я, пэвэошник, почему мы поначалу и жили в одной комнате. От него шел какой-то едкий запах, которым он, как зверь, обозначал свою территорию, сама же территория мгновенно превращалась в нору, заваленную мелкими рванными бумажками, из каких строят себе жилище домашние хомяки... Пожалуй, он и смахивал на хомяка или на белого крыса, этот белокрысы коренастый крепыш с одутловатым боксерским лицом и как бы воткнутыми в безбровую одутловатость светлыми глазками, которые смотрели жестко и напористо. Он был большой говорун, слова произносил быстро и отрывисто и ни в чем не знал сомнений. Вскоре я перестал ему возражать и рассеянно молчал во время наших вынужденно совместных прогулок по Каиру. Слова у него были на редкость правильные и вполне отвечали требованиям «кодекса строителя коммунизма», этой уникальной утопии хрущевской поры. Затем Бунчикова переселили на другой этаж, и только тогда я понял, насколько устал от его соседства. Мне снова стала нравиться моя комната. Две металлические койки, металлические же стол и шкаф, что говорило о дефиците дерева в стране, – вот и все ее убранство. Но главное – тут был балкон, с которого открывался зажатый двумя последними, такими же, как мой, домами вид на Аравийскую пустыню.

Вскоре ко мне перебрался, бросив своих танкистов, Серега Фоменко, будущий журналист, а потом ответственный чиновник в торгпредстве, устраивавший мне номер в ведомственной гостинице, когда мне случалось бывать в Москве. А подружились мы еще раньше, в День Советской армии, 23 февраля. «Выпей со мной, старик!» – появился он в моей ком-

нате с двумя стаканами рома. В тот вечер мы, прихватив горячительное, продолжили празднество в каком-то близлежащем садике и выпили изрядно, перейдя в конце концов исключительно на матерный язык, где наша классическая комбинация из трех букв так замечательно вписывалась в уже откликающийся в нас египетский вариант арабского. Мало с кем еще в жизни мне было так комфортно общаться. Совпадение биополей, зеркальность отношений? О мужской дружбе можно прочесть у Хемингуэя. Теперь я не очень понимаю, что это такое, — для меня она закончилась в юности. Если один человек при встрече с другим испытывает просто радость, а не сексуальное притяжение, это, видимо, и есть один из основных признаков дружбы. Впрочем, природа такой радости загадочна и таится где-то в дебрях проблемы вида и его выживания.

Сергей был прямой противоположностью Бунчикова — начиная с патологической любви к чистоте и порядку и кончая потребностью в старшем — брате, лидере. Им я и стал для него. Его, журналиста, поразила моя филологическая «образованность», и он часто говорил: «Я буду таким через пять лет». К счастью, она ему не понадобилась ни через пять лет, ни через двадцать, но он нуждался в сверхзадаче, ему хотелось на кого-то равняться. Крупный, ладно скроенный, как бы угрюмо-брутальный, что называется, настоящий мужчина, на самом деле Сергей навсегда остался мальчишкой, подростком из коды и вел себя по ее законам верности ближнему. Лидерствовать рядом с ним было нетрудно — он легко попадал под влияние, впрочем, уступая лишь до известной черты, за которой скрывались его дары — хохляцки-хитроватый практический ум, чувство юмора и склонность к самоанализу. Был он к тому же непревзойденный рассказчик, приметлив и чуток к деталям — при желании и усидчивости мог бы стать хорошим писателем. Но не пожелал, потому что не верил в себя и не любил одиночества.

* * *

Если нет работы, если мы с Ефимовым и его подсоветными не ошиваемся возле оборонительных средств войсковой ПВО, я болтаюсь, вернее бултыхаюсь, в море. Войти в него непросто, сразу за урезом воды лежат на дне в позах релаксации морские звезды, далее, чуть глубже, торчат из всех расщелин длинные черные иглы морских ежей. Укол болезнен и отчасти ядовит. Ранка долго не заживает и доставляет массу неприятностей. Поэтому в море босиком лучше не заходить. Я захожу в ластах, задом, как и положено, и при малейшей возможности ложусь животом в воду, погружаю голову в маску, чтобы видеть песчаное дно, и, отталкиваясь руками от него и камней, спешу в глубину. Подводный мир из враждебного и чужого сразу становится своим — простым и понятным. И красочным. Под водой все гармонично, как в момент сотворения мира. Никакого воздействия человека на окружающую среду — оттого она так прекрасна. Больше всего удивляет, что подводная красота вовсе не рассчитана на стороннего зрителя, существует сама по себе и для себя самой. Сколько ни старайся, нам такой среды все равно не создать. Мы ведь все концы прячем в воду — всякие там трубы, стоки... Среда нашего обитания только снаружи пристойна, а внутри — дерьмо, мегатонны дерьма, стекающего куда можно и нельзя... Слава аллаху, что мы сюда еще не добрались. Здесь — природа. Она чиста. Она прекрасна. Она демонстрирует нам свой замкнутый цикл. Все здесь идеально. Никаких свалок. Никаких отходов. Здесь все давно договорились между собой. Здесь паритет слабых и сильных. В выигрыше и те и другие — никто не захватывает новых ниш, поскольку это нарушило бы баланс всего живого. Это природа, устроенная по Божьему промыслу. И не морской ли мир вдохновлял архитекторов прошлого, не геометрия ли ракушки породила ионический стиль? Разве не напоминает морского омара готический Нотр-Дам де Пари со всеми своими контрфорсами и аркбутанами? А клубящиеся формы барокко — разве они заимствованы не из морских глубин?

Но что мы в знак благодарности делаем с природой – только разрушаем, только берем, не возвращая ничего взамен. Мы даже не спрашиваем – можно ли? Так что если кого-то иногда и съедает акула – это поделом...

По причине гипотетических акул я и бултыхаюсь недалеко от берега, ведь им наплевать, что я на их стороне... Подо мной колонии актиний, сжимающих и разжимающих свои кулачки-щупальца, ниже лежат неподвижные голотурии, похожие на буханки черного хлеба. Иногда мимо проплывает неизвестно зачем забредший на мелководье кальмар, а по песчаному дну, взвалив на себя свой дом, пустую раковину, ковыляет рак-отшельник. Раковина так красива, что после короткой и неравной борьбы она становится моей, и рак провожает меня выпученными от негодования глазками. С неявным ощущением вины я убираюсь восвояси. Ничего, другую найдет. Благоговение перед природой чревато комплексом вины и ответственности. А как не переходить грань? Приходится ведь и ловить и убивать. Да и неплохо бы привезти в Каир и далее, в Питер, хотя бы парочку сувениров. А то ведь не поверят, что был на Красном море. Так что моя коллекция морских раритетов пополняется изо дня в день.

У меня есть засохший морской еж (о том, как он засыхал, лучше не вспоминать) и морская звезда... Мелкая рыбешка, почти не умевшая плавать по причине почти полного отсутствия хвоста и плавников, оказалась рыбой-луной – вытащенная из воды, она вдруг стала пищать, втягивая в себя воздух, будто задыхаясь, и не успел я понять что к чему, как на волнах уже плавал колючий мячик размером с гандбольный... А еще довольно крупный рапан, разбудивший меня на вторую ночь лежания на каменном полу в углу моей комнаты. То есть я проснулся от повторяющегося стука, словно у меня объявился какой-то зверек, пытавшийся что-то утащить. Это и был рапан. Из него торчало нечто, похожее на ногу, и, раскачавшись, рапан попытался упереться этой ногой в пол и уползти от меня, своего губителя, куда подальше, к морю, ночное солоноватое дыхание которого он ощущал всеми своими рецепторами... Увы, я не дал ему такой возможности, и в результате он тоже засох, умер, став со временем пепельницей на тумбочке моего начальника по переводческой службе подполковника Рембачева.

Да, я боялся заплывать глубоко, хотя не раз видел метрах в двухстах от берега человеческую фигурку, идущую по воде аки по суку. Там был коралловый риф, и я смотрел туда с завистью. Но вот однажды возле меня, собиравшегося войти в воду, появился араб моих лет, в ластах, с маской и железным прутом, и сказал:

– Ну что, поплыли? Я покажу вам *small beautiful things*...

И я благодарно кивнул.

Его звали Салем.

Мы быстро миновали освоенную мной территорию, вернее акваторию, и поплыли дальше – в неизвестность...

– А акулы? – спросил я.

– Здесь нет акул, – сказал Салем так уверенно, что я почти перестал нервничать, хотя и полагал, что там, подальше, они все-таки появляются. Но если человек, вооруженный лишь жалким подобием гарпуна или пики, без тени сомнения отправляется в открытое море, стало быть, он знает, о чем говорит. В конце концов шансы быть съеденным у меня с ним почти одинаковы.

И вот в метрах ста от берега начинается волшебство – кораллы как игрушечный лес, розовый, голубой, зеленый... Нет, цвета их не поддаются описанию, как и формы. Ну разве что сравнить с узорами мороза на стекле. Словно подобная структура – это то, что заложено в созидательную программу всех природных строителей – от пчел и до микроорганизмов. Впрочем, тут следует сделать поправку на среду обитания – скорее это похоже на окаменевшие деревья. Вот ствол, вот ветви, вот многочисленные разветвления... Как бы зимний, в иное, лес. Между деревьями снуют красивые рыбки – никаких крупных особей поблизости

не просматривается, и это хорошо. Я полон знобкого счастья, такое я вижу впервые. И подозреваю, что больше не увижу никогда.

С детства я грезил подводным миром, помню, в третьем классе на уроке рисовал подводную лодку в разрезе, самоходную, с велосипедными педалями и цепью, чтобы с помощью нехитрой системы шестеренок приводить во вращение винт. Под руками рули высоты, то есть глубины, левый и правый, перед лицом иллюминатор, за иллюминатором – коралловый риф, тот самый, что сейчас перед глазами. Ощущение сладкого потаенного одиночества в теплых водах, перинатальное состояние, плацентный кайф, которого меня лишили, вытащив на свет. По Фрейд, я, скорее всего, хочу обратно, назад, в материнское лоно, не оттого ли я так люблю воду, вернее все внутриводное, пребывающее в плавной невесомости дочеловеческого бытия.

Салем копошится среди леса кораллов, отбивая, отламывая железным прутом лакомые куски. Он продает это на базаре и делает свой маленький бизнес, а я просто ротозействую, я счастливый созерцатель, очарованный пловун, которому ничего не надо, кроме того, что он поместил в сердце. Глубина здесь небольшая, метра три-четыре, если отплыть от кораллового рифа. Со дна ветвятся какие-то новые разновидности кораллов, похожие на оленье рога. А между ними – то ли камни в виде больших шаров, то ли тоже кораллы. Я подплываю поближе – передо мной словно окаменевший мозг из черепной коробки какого-нибудь там четырехметрового атланта... Нет – гораздо красочней: одни в красных извилинах, другие – в зеленых... Вынырнув на поверхность за порцией воздуха, я узнаю от Салема, что их так здесь и называют – мох аль бахр, то есть мозг моря, мозговик.

А вот еще чудо – розовый ангел, плавно помахивающий крылами, всего-то навсего какой-нибудь моллюск, морской червяк или нечто в этом роде, но как божественно красив, как грациозен в своей крылатой мантии, сколько врожденного достоинства в нем... Я прикасаюсь пальцем к нему, довольно беззащитному бесхребетному существу, но он не обращает на меня ни малейшего внимания, продолжая свой медленный машущий полет сквозь морскую толщу, – такой же, как я, независимый странник, у всех на виду, но целый, живой, разве что, возможно, ядовитый.

Отколотые Салемом оленье рога лежат на желтом песке дна. Над нами колышущийся полог серебра – это водная поверхность. Но до нее Салему со своей добычей не подняться – слишком тяжелы его рога. Ведь он без ласт – на ногах обычные брезентовые кеды. Я беру ему помочь и ныряю за трофеем. Да, рога тяжелы, – но сила ласт все-таки влечет меня к поверхности, и почти на исходе дыхания я вынырываю, не отпуская груз. Кораллы мне не нужны – это просто моя благодарность Салему, позвавшему меня в этот мир. Я снова ныряю, встаю на камни, похожие на мозг, – мне жалко расставаться с этим миром. Вода передо мной как огромный куб зеленого стекла. Он прозрачен, но так плотен, что дальние предметы исчезают, словно в другом измерении. Видно только то, что рядом. Какая-то дифракция света и изображения. Салем, я знаю, нырнул где-то рядом, но я его не вижу за плотной стеклянной стеной. Пестрые рыбки пасутся у кораллового рифа – это их дом, а нам пора... Наш дом там, наверху, под палящим солнцем. А жаль...

Я помогаю Салему перетащить его трофеи поближе к берегу, где вода по пояс. Салем поднимает над ней свою добычу – но что такое? Где краски явленного чуда? Вытащенные из воды кораллы больше не розовые, не голубые, не лиловые – они странного ржаво-заплесневелого цвета. Я делюсь своим разочарованием с Салемом.

– Их нужно отбелить, – говорит он. – Мы продаем только отбеленные кораллы. Для этого их нужно на несколько дней зарыть в песок. Тогда они становятся белыми и прекрасными...

Еще с полчаса он возится со своим кладом, примечая это место. Его зад в тонких белых трусах из египетского хлопка торчит из воды, как две спаренные медузы...

* * *

Одно из убеждений русских, выросших на сказках Чуковского, что в Ниле водятся крокодилы. Кажется, все приезжающие прошли через это разочарование – крокодилов нет. Больше всего этот наш вопрос удивлял самих арабов. Крокодилы в Ниле? Откуда вы это взяли? Не ответишь же – из сказок Чуковского... Может, они и есть, даже наверняка есть, но где-то гораздо выше, скажем, в Уганде, у озера Виктория, откуда и берет свое начало Нил.

В начале марта горизонт пожелтел, стал надвигаться, словно гигантский занавес, засвистел, загудел ветер, и город накрыло огромным песчаным мешком – хамсин. Закрылись окна, двери, опустились маскировочные экраны и жалюзи, но, как в фильме ужасов, кто-то невидимый продолжал ломиться в дом, дребезжали ставни, створки, бухал о крышу оторвавшийся кусок кровли, содрогались стены, и сквозь невидимые щели повсюду протекали желтые струи песка как эманация того самого Нечто, что навалилось снаружи, по ту сторону стен, и теперь вот, просочившись в необходимом количестве, может вдруг восстать из этой желтой крови на твою погибель.

Этот тонкий вездесущий песок, пыльца веков, осевшая на барханах, оказался даже в холодильнике и соответственно на зубах, языке, когда наутро перед работой я попытался позавтракать... А потом, ближе к вечеру, прошел короткий дождь, выкрасивший город в канаречный желтый цвет... Но небо еще несколько дней не могло успокоиться и словно откашливалось песчаным ветром.

Слово «хамсин» означает «пятьдесят», и считается, что пыльные ветры дуют примерно пятьдесят дней, но мне запомнилось не больше десятка.

* * *

Я не видел ее недели две после 8 Марта, когда в здании лэповцев были танцы. И вот утром после ночного дежурства, когда я, отпустив шофера, довезшего меня до дома, пошел купить апельсины, в лавочке у зеленщика мы столкнулись лицом к лицу. Она была в легком шелковом платье, выше колен, по моде того времени, ноги загорелые, стройные, волосы светлые, золотыми лентами падающие вдоль высокой шеи, загорелые плечи прикрыты только двумя тоненькими ляжками, сухие сильные ключицы – торс легкоатлетки, лицо узкое, щеки впалые, губы по-негритянски вперед (признак натуры чувственной и лиричной), глаза голубые.

Голубой глаз в виде всяческих амулетов по египетским поверьям защищает от демонов. А демоны здесь повсюду – даже образованный египтянин, прежде чем зайти в ванную или туалет, спрашивает на то разрешение у демонов. Эталон красоты здесь – голубоглазая блондинка, Мэрилин Монро. Коран строг, алкоголь запрещен, и вожделение, которое, похоже, испытывают тут все поголовно, ищет себе выход за рамками веры – на чужой территории. Женщинам из России в Каире непросто.

Чуть наклоняясь, она держала за руку маленькую рыженькую девочку двух лет. Другая ее рука была отягощена хозяйственной сумкой. В сумке на двух толстых пятернях бананов лежали оранжевые ядра апельсинов.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.